

ଲିଟେରେଟୁରାଜ୍ୟ

ପ୍ରଚଳିତ

୫

1976

ЛЕНИН
И ТЕПЕРЬ
ЖИВЕЕ
ВСЕХ
ЖИВЫХ:
НАШЕ
ЗНАНИЕ,
СИЛА И
ОРУЖИЕ!

В. МАЯКОВСКИЙ



Кале БОБОХИДЗЕ

ИМЯ ЛЕНИНА

Если это имя произносят,
враз стихают голоса веков,
словно ветром яростным доносит
боевую клятву моряков.

Если произносят это имя,
даль неистощимая видна,
и зерно руками золотыми
роль не может вычерпать до дна.

Если произносят имя это,
ночью рассветает, словно днем,
и земля, как солнцем, разогрета,
виноград сверкает янтарем.

Если произносят это имя,
вся страна успехами горда
и делами сказочно большими
славит землю вольного труда!

Если произносят имя это,
нам подать рукою до Луны;
голубая старая планета
плещет океаном новизны.

Если это имя произносят,
песней наполняются сердца;
грозный ураган многоголосъ
слово Правды множит без конца.

Если произносят это имя,
в небе многоцветие встает
и опять узорами цветными
голубой расписан небосвод.

Если это имя произносят,
замолкает шепоток врагов —
все в себя вместили, оно доносит
перекличку наций и веков!

Литературная Грузия

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал



Орган Союза писателей Грузии

4
АПРЕЛЬ

19 76 Издательство
ЦК КП Грузии

«ლიტერატურნების გრუზია»



(რუსულ ენაზე)

უ თ ვ ე ლ თ ვ ი შ რ ი ი ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ უ ლ - ა ხ ა ტ ვ რ უ ლ ი
დ ა ს ა ზ მ გ ა დ მ ე ბ რ ი ბ ა ტ ი ლ ი ტ ი კ შ რ ი ი შ უ რ ნ ბ ა ლ ი

წელიწადი მე-20

№ 4

აპრილი, 1976 წ.

საქართველოს საგვოთა მფერლების კავშირის ორგანო



Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Тенгиз БУАЧИДЗЕ,

Гиби ЖВАНИЯ,

Марк ЗЛАТКИН,

Исидор КОЗАЕВ,

Георгий ЛОМИДЗЕ,

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,

Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Гурам ХАРАИДЗЕ

(заместитель главного
редактора),

Владимир ХОМУТОВ
(ответственный секретарь),

Эммануил ФЕЙГИН.

Год издания

20-й

**АДРЕС
РЕДАКЦИИ:**

380008, ТБИЛИСИ, ул. ЛЕНИНА, 5.

Приемная — 99-06-59

Главный редактор — 93-65-15

Заместитель главного редактора — 93-13-57

Ответственный секретарь — 93-31-28

ОТДЕЛЫ:

Отдел прозы и очерка
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) — 93-31-43

Отдел поэзии и искусства
(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43

Отдел критики и публицистики
(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) — 93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Содер жание

ПЕРЕДОВАЯ

К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ 5

НАВСТРЕЧУ VI СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

ВЫСОКИЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ 6

ПОЭЗИЯ

КАРЛО КАЛАДЗЕ. Даиси. Перевод Арсения Тарковского и Михаила Синельникова.
Старинный театр. Птица. Перевод Александра Цыбулевского 10

МАРИКА БАРАТАШВИЛИ. Покинутый дом. Перевод Леонида Темина 13

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ. Шарден в Тифлисе. Старый город. Пробуждение. Имя. Утрата. Небо. Сумерки 13

ПРОЗА

АРЧИЛ СУЛАКАУРИ. Лука. Повесть. Окончание. Перевод Анаиды Беставашвили 16

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ Бассейн. Роман. Окончание. Перевод Анаиды Беставашвили 33

ГЕОРГИЙ НАТРОШВИЛИ. Девочка из Тюмени. Рассказ. Перевод Камиллы Коринтэли 47

ВАНО УРДЖУМЕЛАШВИЛИ. Преображение. Роман. Перевод Маргариты Гржендзица 52

ОЧЕРК

ТЕНГИЗ ГАМКРЕЛИДЗЕ. Наследники Амирани 68



КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ერებული
ეპულისა

РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Интернационализм и худо-	65
жественная литература	
АКАКИЙ ТОПУРИЯ. Новый роман — новый герой	68
МАЙЯ МАЧАБЕЛИ. Несколько слов в защиту литератур-	
ного героя	72

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ ЛЕЙБЕРОВ. «Ясочка» — почтовый ящик ре-	
волюции. Окончание	76

ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Свет памяти	82
ВЛАДИМИР ДЖАПАРИДЗЕ. Отдал народу все	90

В МИРЕ КНИГ

ЗОЯ ТУХАРЕЛИ. В русле современных исканий	94
---	----

К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ!

ФОРУМ советских коммунистов завершил свою работу. XXV съезд КПСС стал грандиозным фактом истории. Он еще раз убедительно продемонстрировал гигантский размах и глубину революционно-созидаельных свершений нашего великого народа. Под руководством Коммунистической партии советские люди одержали всемирно-исторические победы. Всеохватывающий анализ итогов экономического и социально-политического развития нашей Родины, современного положения в мире, политической, организаторской и идеино-воспитательной работы партии содержит доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева «Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области внутренней и внешней политики».

Советские люди с горячим одобрением встретили документы XXV партсъезда. В материалах и решениях высшего партийного форума перед всем миром предстала картина поистине колоссальных достижений Страны Советов, проявившихся величие, благородство, реальность наших планов.

Овладение огромным идеальным богатством XXV съезда КПСС, пропаганда и разъяснение его материалов в массах, идеологическое обеспечение выдвинутых им задач — работа, рассчитанная на длительный период. Эту работу надо вести планомерно, систематически и глубоко.

В работе съезда принимала участие представительная делегация работников идеологического фронта, и среди них писатели нашей республики. С волнением слушали посланцы солнечной Грузии слова, произнесенные с высокой трибуны.

На съезде было отмечено, что наша республика добилась значительных успехов в развитии народного хозяйства. Было отмечено, что негативные явления, имевшие место в нашей действительности, уродовавшие нашу жизнь, постепенно изживаются. И по сегодняшний день ведется неустанный борьба за восстановление норм партийной дисциплины, за искоренение пережитков прошлого.

Особое место в этой борьбе должна занять наша литература, которой Л. И. Брежnev дал на съезде столь высокую оценку.

Главное сейчас состоит в том, чтобы создавать произведения, достойно отражающие сегодняшний день, его героический дух и устремления.

Наш народ приступил к выполнению заданий десятой пятилетки. На состоявшемся недавно в Тбилиси собрании партийно-хозяйственного актива Грузии с участием победителей социалистического соревнования еще раз были указаны пути к выполнению тех грандиозных задач, которые наметил форум советских коммунистов.

У писателей своя пятилетка. Пятилетка, нигде не запланированная, не выраженная в конкретных цифрах. Но раз писатель — знаменосец народа, он должен жить жизнью своего народа, выражать его чаяния и стремления. Поэтому ясно, что литераторы Грузии, как и всей нашей Родины, должны искать и находить темы для своих произведений, прототипов своих героев в самой гуще нашей жизни.

Время ставит перед советскими писателями задачу создания новых высокодейных и высокохудожественных произведений, достойных великих дел нашего народа, нашей могучей Родины.



Высокий долг писателя

РАЗДУМЬЯ
В ПРЕДДВЕРЬЕ
VI СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ
ГРУЗИИ

С ЧУВСТВОМ высокой гражданской ответственности приходят писатели Грузии к своему очередному, VI съезду.

Величественная программа новых свершений, намеченная XXV съездом КПСС, призывает весь советский народ вдохновенно, с полной отдачей сил работать во имя того, чтобы планы предстоящего пятилетия воплотились в жизнь. В Отчетном докладе ЦК КПСС, с которым на XXV съезде партии выступил Л. И. Брежnev, была дана высокая оценка труда советской творческой интеллигенции, и это вдохновляет литераторов на большую и серьезную работу с ясным сознанием той особой миссии, которую осуществляют писатели в нашей стране.

На предстоящем VI съезде писателям Грузии надлежит обсудить итоги литературного развития всех жанров за последние годы, пути художественного достижения современности.

Знание жизни народа, активное участие в его созидающей деятельности — первый долг советского писателя.

Много проблем волнует накануне съезда грузинских литераторов. Мы попросили некоторых из них поделиться своими раздумьями с читателями «Литературной Грузии».



Демна Шенгелая:

ПУЛЬС советской литературы бьется в унисон с пульсом страны, партии, народа. На XXV съезде КПСС была намечена великая программа новых свершений. И все писатели, работающие в самых различных жанрах, сполна осознают свою гражданскую ответственность за высокое качество литературного труда.

Объектом изучения литературы по-прежнему остается человек, но человек уже совершенно иной, чем тот, которого мы знали еще в недавние годы. Очень точно об этом сказал в Отчетном докладе Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев:

«... Важнейший итог прошедшего шестидесятилетия — это советский человек, человек, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых тяжких боях, человек, который строил будущее, не жалея сил и идя на любые жертвы, человек, который, пройдя все испытания, сам неизвестно изменился, соединил в себе идеальную убежденность и огромную жизненную энергию, культуру, знание и умение их применять».

Быть исследователем этого интереснейшего процесса полной внутренней перестройки личности, его психологии, мышления, характера — задача почетная и волнующая.

Михаил Мревлишвили:



ПРИБЛИЖАЕТСЯ VI съезд советских писателей Грузии. Такое событие всегда волнующе для мастеров художественного слова. Каждый подлинный творец ставит перед собой строгие вопросы — что сделано, что делается, что в перспективе? Ведь и первозданная природа, и бурный поток событий на нашей планете, и грандиозный размах ближайшего будущего Страны Советов, очерченные XXV съездом КПСС, открывают широкие горизонты счастливого будущего человечества. Однако чем смелее дерзания света, тем ожесточеннее противостояния тьмы. И настоящий художник тот, кто правильно распределяет светотени на холсте, указывая, как синоптик, где притаились градоносные тучи, чтобы всеозаряющим светом развеять их. В этой борьбе в первых рядах стоят и мастера грузинского художественного слова.

Нодар Думбадзе:

НА ПРЕДСТОЯЩЕМ съезде писателей Грузии будет идти большой разговор о достижениях нашей литературы за последние годы, о тех творческих проблемах, которые выдвигает перед художником время.

Как делегат XXV съезда КПСС я с волнением слушал Отчетный доклад Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева, давшего высокую оценку деятельности творческой интеллигенции, которая, по его словам, «...вносит все более весомый вклад в общепартийное, общенародное дело строительства коммунистического общества. Этот положительный животворный процесс отразился, естественно, в тех новых произведениях социалистического реализма, которые были созданы у нас в стране за последние годы. В них все чаще, а главное — глубже находит отголосок то основное, существенное, чем живет страна, что стало частью личных судеб советских людей».

В Отчетном докладе много говорилось и о нравственном воспитании человека. В нем прозвучали слова о том, что надо активнее бороться с недостатками, еще встречающимися в нашей жизни.

Писатели призваны быть действенными помощниками партии в формировании высоких моральных качеств, в воспитании людей коммунистического завтра.

Прошедшие годы стали годами больших достижений и для нашей республики. Немало усилий пришлось приложить и к решению задач нравственного воспитания. Но еще очень многое предстоит сделать. Впереди — десятая пятилетка!

Есть ли пятилетка у писателей? Разумеется, есть. Правда, не столь конкретная, как у тружеников, занятых в народном хозяйстве. Ни в одном разделе плана не значится, сколько миллионов стихотворных строк должно быть написано, сколько тысяч романов, повестей и рассказов выйдет в свет. И это понятно. Труд литератора, как и труд художника, музыканта, специфичен. Но писатель прежде всего — гражданин, сын своего Отечества. Он живет делами, радостями и заботами родного народа. Литература ищет и находит свои темы, свои образы, свои сокровища в самой реальной действительности.

Реваз Маргиани:

ТАК УЖ ПОВЕЛОСЬ и стало добной традицией, что перед каждым съездом мы отчитываемся о проделанном, рапортаем о наших успехах.

В канун съезда писателей Грузии мы все время ощущаем живую связь с теми идеями, под знаменем которых проходил XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. На новые исторические рубежи выходит и наша литература, верная принципам партийности и народности, высоким гуманистическим идеалам.

За прошедшие после нашего последнего писательского съезда годы читатели поставили на свои полки немало новых книг грузинских прозаиков, поэтов, критиков.

Готовящемуся съезду предстоит осмыслить всю эту большую работу зинских литераторов, соразмеряя ее с задачами, стоящими перед всей страной.

В самое ближайшее время в издательстве «Сабчота Сакартвело» выйдет книжка моих новых стихов «Встреча с весной в снегопад». В нее вошла лирическая поэма и большой цикл стихотворений «1942».

Недавно в «Литературали Сакартвело» был опубликован новый цикл моих стихотворений «Риха-свет». В издательстве «Мерани» готовится к печати поэтический сборник, в который вошли стихи последних трех лет и сборник избранных стихов разных лет «Лилэ» в переводе русских поэтов.

Сейчас работаю над новой поэмой «Хроника юношеских лет», которая уже в стадии завершения.

Таков мой личный рапорт съезду писателей Грузии.



Тамаз Чиладзе:

ЗНАЧЕНИЕ съезда писателей Грузии, безусловно, выходит за рамки всех вопросов и проблем, которые волнуют нашу творческую организацию.

На съезде мы отчитываемся перед читателем, который любит свою литературу и в своей любви очень требователен и взыскателен.

Проблемы, которые будут подняты на съезде, непременно должны быть реальными, жизненными и важными для всей общественности.

В ряду этих проблем наиболее серьезными мне видятся следующие: гражданская позиция писателя, из которой вытекает острота и злободневность современных произведений, нынешнее состояние грузинского литературного языка и пути его дальнейшего развития, изучение грузинского языка и литературы в средней школе и в высших учебных заведениях, связь литературы и театра, состояние нашей полиграфической базы, литература и читатель, завтрашний день нашей литературы — молодое поколение писателей.

Все эти вопросы выдвинуты жизнью, и я надеюсь, что они лягут в основу глубокого и серьезного разговора на съезде писателей Грузии.



Гурам Гвердцители:

НА ПРОТЯЖЕНИИ последних лет стал особенно ощутим высокий гражданский пафос грузинской литературы, особенно поэзии и художественного очерка. Это результат того обновления, которое произошло в жизни нашей республики и которое нашло единодушную поддержку всего общества (во всяком случае, здорового его большинства), в том числе и писателей. Серьезный анализ и осмысление всех этих явлений, видимо, и станет основным направлением в работе съезда писателей Грузии.

Десятая пятилетка объявлена пятилеткой качества. Забота о высоком качестве в неменьшей степени, чем в других отраслях народного хозяйства, стоит и перед нашими писателями. И чтобы со всеми тружениками республики достойно завершить новую пятилетку, прежде всего надо обратить внимание именно на качество литературной продукции; в этой области, мне думается, у нас дела обстоят не вполне благополучно. Этот момент тоже должен послужить поводом для большого разговора на съезде писателей.

Грузинской литературной критике, которой служу, в частности, и я, предстоит большая работа: надо осуществить то, что еще не сделано, — рассчитаться с вчерашними долгами и заняться делами сегодняшними. Особое внимание надо уделить сравнительному анализу литературных произведений, проследить, насколько они совпадают с живым процессом жизни, — это самый безошибочный критерий в оценке их достоинств. И этой острой проблеме, видимо, будет отведено должное место в работе съезда писателей Грузии.



Лично я тоже работаю в этом направлении. В ближайшее время выйдет в свет сборник моих статей «Горизонт новый или старый?». Сдана в издательство монография о Михаиле Джавахишвили, подготовлен для издания на русском языке сборник литературно-критических статей «Преодоленная высота». Работаю я также над обширным монографическим исследованием «Проблемы современной грузинской прозы»; перечислить же статьи, опубликованные в журналах, даже затрудняюсь. Но меня гложет сомнение — а каково качество всего этого?..

Съезды писателей республики и всесоюзный будут значительным эпизодом в нашей литературной жизни, и я лично, как, наверное, все советские писатели, связываю с этими событиями свои творческие надежды.



Марк Златкин:

СЪЕЗД писателей Грузии начинает свою работу в воистину знаменательном году — в год исторического XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза, первом году десятой пятилетки, пятилетки гигантского размаха строительства коммунизма.

Генеральный секретарь ЦК нашей партии Леонид Ильич Брежnev с трибуны XXV съезда дал высокую оценку благородному творческому труду деятелей всей советской литературы. Это в равной степени относится и к грузинским писателям.

Грузинские мастера слова с большим творческим подъемом отразили в своих книгах самоутверженный труд грузинского народа в девятой пятилетке. Новыми произведениями пополнилась серия библиотечки «Грузинские писатели на вахте девятой пятилетки», выпускаемой издательством «Мерани».

В этой серии представлено творчество грузинских писателей старшего поколения и могучая свежая струя произведений молодых писателей, работающих во всех жанрах.

Период между съездами ознаменовался выпуском ряда значительных произведений, в том числе многотомными изданиями собраний сочинений Константина Гамсахурдия, Серго Клдиашвили, Демны Шенгелая. Своеобразным отчетом XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза явился выпущенный издательством «Мерани» сборник стихов грузинских поэтов «Единодущие».

«В этом сборнике, — говорится в предисловии, — представлены произведения грузинских поэтов, созданные в основном за 1970 — 1975 гг., — свидетельство единодушного участия писателей в строительстве коммунизма под руководством партии».

Съезд писателей Грузинской ССР наряду с известными достижениями, имеющимися за отчетный период, безусловно, заострит внимание на преодолении недостатков в жизни и работе всех своих организаций и наметит конкретные пути их преодоления, тем самым создав еще более творческую атмосферу для появления новых, высокоидейных художественных произведений, достойных нашего современника.



Д а и с и

«Даиси»—опера Палиашвили.
 Даиси — закат...
 И в горах на закате
 Столетья сошлись,
 волшеством оживили
 Сказанья минувшего,
 давние были,
 Напомнили музыкой камни
 Гелати...

1.

Хвала тебе, зодчий, хвала, исполать!
 Ты молча заветное высказал слово,
 Ты властен был своды на своды поднять,
 Твой камень — основа Гелати седого.

Но как неподатлив был твой матерьял!
 Он скорбь затаял и смирился, покуда
 Однажды не вспыхнул и не зазвучал,
 Услышав заката свирельное чудо.

Однажды здесь теплился, будто во сне,
 Костра приглушенный огонь, и
 сладчайший
 Свой хлеб надломили мы и тишине
 Доверили таинство вечери нашей.

Прекрасные скалы последнюю пядь
 Владений своих темноте уступили,
 И чтоб от беспамятства их удержать,
 На помошь призвали мы Палиашвили.

И, мрак разодрав, за хоралом хорал
 Обрушился, и от пещер и ущелий,
 Царапая крылья о выступы скал,
 Печали ночным вороньем отлетели.

Пробился рассвет сквозь завесу времен,
 И мы предались его блеску и славе,
 И вот — колокольный ликующий звон,
 Давно позабытый, услышали въявье.

О, руки строителя, вы возвели
 Столы до небес, но истлели в могиле...
 И, небу не веря, мы песней земли
 И вам к строению жизнь возвратили.

2.

Томились мы жаждой высоких бесед,
 Семь верных святыням нагорного края,
 Внимая раскатам промчавшихся лет,
 За трапезой душу друзьям открывая.

О, как мы любили твой плащ плюшевой,
 Вечерней росой увлажненный, Гелати!
 Чтоб камень обрушить незыблемый твой,
 У недругов нет ни мечей, ни заклятий.

И восемь веков ожидали, пока
 Заветная тайна твоя возродится,
 О, слава минувшая! Издалека
 Давидова к нам протянулась десница.

Мы пели, тебя вопрошая: когда
 Воспряло твое величавое диво?
 Когда же опять воссияла звезда
 Над камнем твердыни твоей горделивой?

Светился, лучась, белокаменный храм,
 В листве и траве времена запутали,
 Едва удалось из минувшего нам
 Уйти невредимо, от стольких печалей...

Но кто оживил каменистую грудь
 Земли, истомленной застоею постылым?
 Пустынной громаде дыханье вернуть
 Одной современности было по силам.

И медлило солнце уйти на закат,
 Раскинув свой пурпур над вечерей нашей,
 И мы, утоляя восторженный взгляд,
 В траву опустили кувшины и чаши.

3.

Так зодчество учит, так время поет,
 И вторят их голосу долы и горы:
 Ни крепким камням, ни столетьям
 вразброда
 Нельзя удержаться, разрушив опоры...

Так вот почему нас волнует закат,
 Шатер свой раскинувший на небосклоне.
 Горя, как свеча, у подножья громад,
 К тебе, наш Гелати, стремится Риони.

Чтоб звездам, тебя украшая, гореть,
 Пока их заря еще не ослепила,
 В Риони спадает незримая сеть,
 У звонкой волны похищая светила.

Не будь нашей клятвы твой камень
 беречь,
 Ты смерти просил бы у грозного рока,
 Без жалобы принял бы времени меч...
 Стоять одному — значит пасть одиноко!
 Стой, выстоя! Стоит и жить, и пытать,
 Коль в небе мечты огневеют повсюду;

Стоять, не старея, дана благодать
Тому, кто причастен высокому чуду.

Тебя защищавших в минувшие дни
Народных героев прекрасные лики
Навеки на стенах своих сохрани,
Исполни завет поколений великий.

И пусть по плите, под которой лежит,
Смирясь, умалившись в минуту моленья,
Склонившийся перед грядущим Давид,
Несспешно и наше пройдет поколенье.

Мы трепетно дышим величьем твоим,
В пристанище дружеском не откажи нам!
Быть может, еще мы до ночи дадим
В заздравные чаши пролиться кувшинам...

4.

Когда-то сюда мы пришли всемером.
Я знаю свой возраст... Нас трое
осталось...
Давайте ж сквозь время пройдем
напролом,
И нас не догонит в дороге усталость.

Давайте поспорим, давайте споем
И сердце сольем с полногласьем природы,
Навеки запомним в стремленье своем,
Что нам завещали гелатские своды!

И помнить я буду, пока не умру,
Как древнее небо над нами алело...
Был с нами на дружеском скромном пиру
Слепой музыкант по прозванию Лео.

Так вот, мой Реваз, пожалеем, что нет
Сегодня слепца вдохновенного с нами,
Что ночь за веселья любил и рассвет
Стремился он как бы увидеть перстами.

А песня взмывала в небесную высь,
Казалось, незримое солнце встречая,
И тени ночные за нею гнались,
Но песня сильнее, чем нечисть ночная.

О, как мне сейчас не хватает его!
Кто мог бы, коснувшись целительных
клавиш,
Сегодня его повторить волшебство,
Уж если унынием душу **отравишь**.

Ты в сторону только его погляди,
Ты лишь намекни — и раздвинутся сами
Гармони меха у него на груди
И музыка хлынет, вздыхая мехами.

5.

Торжественность некая есть, мой Реваз,
И в скромном застолье — в ненастную пору,

Когда от лесов, окружающих нас,
Отвлечься нельзя потрясенному взору.

Кипучие годы ушли далеко,
Но пусть, мой Реваз, этим вечером с нами
Окажется Алхазишили Нико,
Тебя и его призываю стихами!

Кто в небо влюблен, тот без лестниц
взойдет
До свода лазурного и золотого,
Так нам ли, друзья, не уйти от забот,
С улыбкой не вымолвить братского
слова?!

Сюда поднялись мы не травы топтать
И, юность припомнив, рыдать об утрате,
Но трепетным сердцем принять
благодать,
Увидеть закатное солнце Гелати.

Мы видели: скалы кострами горят,
Мы видели горы в багряной короне,
Простерся до самого моря закат,
И встретиться с морем стремился Риони.

6.

Вы помните, как мы окончили путь
И вышли под вечер к воротам Гелати...
О, если б опять, как тогда, потонуть
В закатном огне, в пламенеющем злате!

Священна земли этой каждая пядь,
И солице, и тень этих стен
вдохновенных...
И пальцы слепого пытались поймать
Последние отблески солнца на стенах.

Ему отвечали, таясь до поры
В густеющей мгле и нахлынувшей хмури,
Скрываясь в пещерах лесистой горы,
Дыхание перевода, саламури.

Вдохнули — и сам я готов был запеть,
Прислушавшись к их вековечному горю,
К их лепету... Лео! Скорее ответь,
Сыграй нам вечернюю звонкую зорю.

И ветер коснулся прохладного мха,
Вечерние тени коробя и горбя...
Так пусть, как певучей гармони меха,
Наполнятся легкие воздухом скорби.

Так пусть расколышут глубокую тишину
Вершины дерев, наши души тревожа,
Ты видишь, слепец, ты в столетья
глядишь,
Нет глаз у тебя, но рыдаешь ты все же!..

7.

Ровесники, слезы нам лить ни к чему
И попусту смех расточать не годится,



Пред нами — наш берег заветный...
К нему
Нас песня домчит, как могучая птица.

Давайте споем и в себе воскресим
Порыв, обновляющий древнюю славу,
И все, что мы словом удержим своим,
Владением правнуоков станет по праву.

И, мрак разодрав, за хоралом хорал
Обрушился, и от пещер и ущелий,
Царапая крылья о выступы скал,
Печали ночным вороньем отлетели.

Погряс небеса твой ликующий хор,
Хвала вдохновению Палиашвили!..
И восемь столетий вступили в собор
И каменным голосом заговорили.

Не известью камень Гелати скреплен,
А кровью, и плотью, и верностью нашей,
Мы поняли тайную повесть времен,
Старинную надпись на чаше, на чаше...

Сравнишь ли ты этот закат, мой Реваз,
С огнем очага под золою печали?
Он пламя сердец, и в грядущем не раз
Еще разгорится, как в самом начале.

Перевод Арсения ТАРКОВСКОГО
и Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

Старинный театр

Театр. Театр старинный. Непременна
Тут позолота и настройка струн.
И занавес. За занавесом — сцена
И на тахте — сама Фатъма-Хатун
Опять целует мужа, провожая,
Мерцание серьги он заслонил.
Но как бы действие опережая,
Уже не скрыт кулисой Автандил.
Какая малость малая — измена,
Ведь страстью все оправдано теперь.
Тахта и женщина. Все та же сцена.
Опять в рассвет распахнутая дверь.
И муж: Довольно! Я не раб отныне
Любовных ласк, прельстительных ланит...
На голос вопиющего в пустыне
Серга мерцает, может быть, звенит.

И сколько лет все это длится, длится
Все восемьсот и более восьмисот.
Иные времена, иные лица.
Земля иная и течение вод.
И муж: Довольно! Я не раб отныне
Любовных ласк, прельстительных ланит...
На голос вопиющего в пустыне
Серга мерцает, может быть, звенит...

Птица

Что знаю я о ней? Внезапной смутой
Она всего на несколько минут,
На языке ином, не так, как тут,
Она сама рифмуется с минутой,
Влетела, словно только от погони
Спаслась и еле переводит дух.
А весь ее — что он там весит! — пух
Хватило бы на то, чтоб сдуТЬ с ладони.
И так смешна, и так мала пичуга,
Так перепутала — что верх, что низ.
И не узнать — вспорхнула от испуга
Или осуществила свой каприз.
И носит серый цвет она багряный,
Боюсь не вспомнить, кто это она,
Величинаю с пальцем безымянный,
Перебираю птички имена.
Любое наименование узко,
Я их ловлю на замысле простом.
Так это, вероятно, трясогузка —
Вот затрясла, как фалдою, хвостом.
Но с синевой — возможно, и синица,
Нахохлилась — так тут не зяблик ли?
И пропадает в воздухе, как спица,
Которую в круженье вовлекли.
И речи быть не может о потере —
Ведь гостья так мала. И я ей рад.
А в центре грозы тяжелая чхавери —
Опустоши с насоку вертоград.
В пространстве виноградника отлогом,
К налитой виноградине порхнув,
Когда она закидывает клюв,
Он представляется заздравным рогом.
До капельки ту каплю осушив,
Опять уносится как от пожара.
Но это ведь Важа Пшавела жив,
Со свадьбой соек — с сойкою Закара!

Перевод Александра ЦЫБУЛЕВСКОГО





Марика БАРАТАШВИЛИ

Покинутый дом

Пустеют дома, целые деревни, особенно в горных районах Грузии, настолько сильна в последнее время непропавданная тяга сельских жителей к городу. Болью за такие опустевшие дома и вызвано мое стихотворение.

Автор

О, с какою тоской у дверей
Куст кизила поник,
и напрасно
Что-то шепчет листва тополей,
Устремляющихся в пространство!
И марани пьяны — без вина,
Без зерна кукурузники дремлют,
Бродит тягостная тишина,
Лист увядший роняя на землю.
Мрачен дом —

точно думает он:
«О, как тяжек забвения стон!
Чем бороться с недугами? — Нечем.
Кто хозяином будет мне, кто
Отогреет меня и излечит?...».
Грудь усталая. Темнеет в очах.
Я ведь тут малышей качала.
Чтобы полон был мой очаг,
Мать с отцом рук не покладали.

А теперь — одиночество
По углам бесприютным стынет,
Наукам только хочется
Воплотить его в паутине.
И никто, как из года в год
В поколеньях быльых бывало,
Из марани вина не несет,
Чтоб наполнить вином пиалы.
И сквозь крышу звенят: «там-там»,
Пол пятна дождем нередким,
И досталось во власть мышам.
Все, что дорого было предкам.
Был плетень развалился и тот,
Двор репейником зеленеет.

Полонила меня печаль,
И заботы меня одолели,
И ночами не спится мне:
Чтобы снег не побил колыбели,
С крыши надо бы сбросить снег,
А еще — залатать бы крышу...
Только ветр холода сулит.
И миндаль ничего не слышит,
И камин так надсадно дышит
И простуженно так сипит.

Перевод Леонида ТЕМИНА

Шарден в Гифлисе

Закрой глаза! Полнеба — за порогом,
Вся в радугах подзорная труба.
Ты слышишь, осушают рог за рогом,
Торгуют богом и пекут хлеба.

Татары, турки, персы и армяне.
Дары волхвов. За облаком седым —
Копытный цокот, музыки зиянье,
Коленчатый, волнообразный дым.

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

И мысль пойдет за каждым иноверцем,
Скользнет, свиваясь в дымное кольцо.
Там за углом... Балконы с красным
перцем,
Пугливое, прекрасное лицо.

Но что твоя смешная серенада!
Все это — ложь и серная вода.
Я проведу тебя кругами ада,
Подземные открою города.

Глубокий погреб той грузинской речи,
Где никнет хмель и глохнет листия,



Уходят упливающие свечи
За цветовые пятна бытия.

И в этом закипающем прибоем
Еще сольются в пенный океан
Персидское лилово-голубое
И серебро гипербoreйских стран.

Но есть у нас кузнечный цех и рынок.
И под гербами Солнца и Луны —
Семи стихий условный поединок,
И меры веса, тяжести, длины.

Но есть еще истертая циновка,
Упорный молот, огненная печь,
Высокая, бесовская сноровка
Лаваш и меч из пламени извлечь.

Так вот они искусства атрибуты
Под сводом вулканических небес...
Теперь гляди, смотри, не перепутай
Удара тяжесть и удельный вес.

Старый город

Р. К-ву

Плавно-покатый, румяно-гранатовый,
Вогнутый город с горой на груди,
Далю оглядывай, небом окатывай
По затонувшим мостам проведи!

Книгой зачитанной и недогонченной,
Выцветшим сонником, темным, как он, —
Сводчатый, дымчатый, многобалкончатый,
Сам ты похищен и в ночь унесен.

В ночь, что спросонья, ворочаясь лавою,
Мечется, серной водой клокоча.
В ночь, где хлопочет певуньею лукавою
И гомонит, горячясь, каманча.

Сине-прохладный и зноино-сиреневый,
Переплетенный, как свиток, Тифлис,
Перелистни свой фронтиспис шагреневый
Там, где заставкою месяц повис!

...Гулкая улица, дряхлая странница,
Сузившись, скаввшись, трясет головой,
И по пятам ковыляет, и тянется,
Словно застывший напев хоровой.

1975.

Пробуждение

Зелень черных, как ночь, кипарисов,
Неба черного голубизна —
Просветлевшего времени вызов,
Пробужденье мое ото сна.

С выражением грузной печали
На меня поглазели дома.
Не нуждается время в начале,
Как свободная воля ума.

...Этот город распался на звенья,
Чтобы их подобрать и срастить,
Я ступенчатой мыслью творенья
Проведу путеводную нить.

Все опять поднимается в гору,
Продолжаются те же пиры.
Здесь, наверно, столетий за сорок
Был я камнем, упавшим с горы.

Сотни выступов, тысячи вмятин
В голубых небесах пролегли.
Голубая толпа голубятен
Никогда не коснется земли.

Что направо теперь, что налево
Над горою, над жизнью моей!
Бродит отзвук немого напева,
Отрывается, падает в небо,
Отделяется лист от ветвей.

И персидского неба приманка —
Золотая магнитная даль.
Пляшет свадьба, щебечет шарманка,
Сердцу больно, но сердца не жаль.

Имя

В ревущей буре Куры, ликуя, —
Водоворотов рукоплесканье..
Под гул чонгури им вслед бегу я
И над лугами, и над песками.

О, в этом сильном круговороте,
Властолюбивом кругом разбеге —
Раздолье свежей покорной плоти,
Блаженной смерти, звериной неги.

О, жизнь слепая, ты — отраженье
Вершин и храмов, долин и хижин.
То мир — в тревоге, в передвиженье,
То вновь — зеркален и неподвижен.

Войди в теченье, смежая веки,
В миг омовенья забудь мгновенье.
Роняя руки в родные реки,
Как дуновенье, прими забвенье.

Давно, Халдея, твои колена
В земле Колхидах свой плен забыли,
И только пена, речная пена
Летит сквозь время, как туча пыли.



Утрака

Все думал я, как стану ювелиром,
Как юность изменившую верну
Охрипшим трубам и усталым лирам,
Расплавлю в тигле тонкую струну.

Металл страшился пламенной прохлады.
А мастеру мерещились в ночи
Армении глазастые оклады,
Певучие кинжалы Кубачи.

Была отрава въедливей рассолов,
Медовую напоминая сыть,
Расплавленное олово глаголов
Мне горло жгло и не могло застыть.

Я подбирал щипцы и разновески,
Считая золотинки без потерь.
Теперь, на остающемся отрезке,
Я одинок, и легче мне теперь.

Каменья прикупая по карату
И упражняя руки, что ни день
Я жаждал кладов, но понес утрату,
Весь мой орнамент сбылся набекрень.

Хотел писать, но почерк стал размашист,
И лучший друг мне гибелью помог,
И для земли копившаяся тяжесть
Ушла в тот час, как почва из-под ног.

Выше или ниже, небо с нами,
И вдали, и рядом, и в груди.

Что там речи о дневных обидах,
Если вдруг смежаются, спеша,
Взвихренного неба вдох и выдох —
Взвешенная легкими душа.

Сумерки

С душой вечерней и прохладной кровью
Бреду в московских сумерках домой.
Но продвигаюсь мысленно к верховью
Реки хевсурской пенно-дымовой.

Над головой что ни утес, то — кубок
С дымящим суслом дыбящихся гроз.
Могучий дух! И крепости обрубок
К туманности эпической прирос.

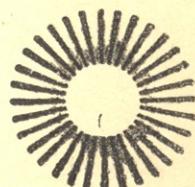
Но в час, когда переселялся эпос
В лирические наши города,
Торжествовала твердых рек свирепость,
Жестокость камня и коварство льда.

Закрыл глаза — стал горячей и звонче
Сырой напев гремучего ключа,
И мчится речка хищной стаей гончей,
Обламывая ребра и рыча.

Кусается, прыжками сносит бревна
Парящего над пропастью моста.
Ни в чем, ни в чем природа не виновна,
Земля прекрасна. И река чиста!

Небо

В синий сон приходят сны за снами,
Только — за плечом и впереди,



Лука

Повесть

Перед тем как войти в ворота, он заглянул во двор и внимательно огляделся по сторонам, потом прокрался как вор, чтобы никто его не увидел, и бегом поднялся по лестнице. Портфель он бросил в галерее, а сам сел на тахту. После того как он расстался с Маико, его стали мучить прежде неведомые угрызения совести. Он страдал оттого, что из-за него избили Маико, такую маленькую и беспомощную. Луку били не раз, и сам он тоже поколачивал других. Иногда он проигрывал в драке, иногда побеждал, но с такой несправедливостью он сталкивался впервые: этот верзила нещадно колотил худенькую и слабенькую девочку, на которую дунуть достаточно, чтобы она упала.

«Нет, этого простить нельзя, я обязательно должен ему отплатить», — думал Лука, но в том-то и беда, что он не знал — как? Стройл различные планы, даже решил убить обидчика. Но появление Еогданы помешало додумать эту страшную мысль до конца. Она открыла дверь в галерею и, ужаснувшись, хлопнула себя рукой по лицу.

- На кого ты похож, Лука, что с тобой?! — вскричала она.
- Ничего. Меня побили.
- Кто?
- Один парень из нашего класса.
- За что?
- Не знаю.

— Идем скорее, я вымою тебе лицо, а то тетушка увидит, что ты весь в крови, и просто умрет от испуга. — Богдана взяла Луку за руку и, побитого и помятого, отвела его к Андукапару.

Лука подробно рассказал Андукапару, что произошло. Андукапар бесшумно раскатывал на своем кресле назад и вперед, потом подъехал к умывальнику, где Богдана отмывала Луку.

— Кто такой этот Ираклий Девдариани, почему я раньше о нем не слышал?
— Его в этом году перевели в нашу школу, он второгодник или даже третийгодник.

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 3.



— Я вижу, он большой мерзавец!

Лука впервые слышал от Андукапара грубость и, честно говоря, удивился, но понял, почему Андукапар позволил себе так выразиться. Андукапар был на ~~затруднен~~ ^{затруднен} столь рассержен, что побледнел и руки у него дрожали от волнения.

Неожиданно для всех в комнату ввалился почтенный Поликарпе. С бессмыслицей улыбкой огляделся и с таким видом поздоровался с присутствующими, как будто вовсе не ожидал их здесь увидеть.

— Ого, мое почтение!

Ему никто не предложил войти, несмотря на это, он все же вошел и нащупью прикрыл за спиной дверь. По багровому лицу и косящим глазам было видно, что он был изрядно под хмельком, хотя и старался сохранить чувство собственного достоинства — не качаться.

— Как живете, соседушки? На что это похоже, столько времени живем рядом и даже не здороваемся как следует...

Поликарпе улыбнулся и масляным взором уставился на Богдану.

— А для этой прекрасной дамочки я вообще как будто не существую. Для нее что я, что... какой-нибудь бродяга, все едино.

— Что вам нужно? — спокойно спросил Андукапар.

— Ничего, кроме вашего благополучия! — Поликарпе вдруг обратил внимание на Луку и завопил: — Ой-ой-ой, ну и разукрасили тебя! На кого ты похож, негодник! Ты что, хочешь свою тетушку заживо похоронить? Ступай домой, и я добавлю то, чего тебе там недодали! Убирайся отсюда, сопляк!

Поликарпе опять улыбнулся Богдане, и глаза у него заблестели.

Лука заметил, как вспыхнул Андукапар, но Поликарпе никого не видел, с бессмыслицей пьяной улыбкой он смотрел на Богдану. Богдана смущенно поежилась, повернулась к умывальнику и почему-то стала мыть руки.

— Я бысоветовал вам пойти к себе и выспаться! — проговорил Андукапар немного изменившимся, дрогнувшим голосом.

— А зачем мне высыпаться? — изумился Поликарпе.

— Затем, что вы в стельку пьяны!

— Я — пьян? — заволновался Поликарпе.

— Да.

— Нет, вы только поглядите на него! Кто так встречает гостей? Если бы даже я был врагом, и то не следовало бы так обращаться с Поликарпе Гиркелидзе!

Андукапар укатил на своем кресле в глубь комнаты.

— Убирайся домой! — Поликарпе повернулся к Луке. — И чтобы я тебя здесь больше не видел!

— Это вас не касается, уважаемый, будет Лука ходить сюда или не будет.

— Что значит, не касается?!

— Я еще раз прошу вас выйти отсюда!

— Ты говоришь это мне, Поликарпе Гиркелидзе?

— Нет, Уинстону Черчиллю!

— Ты видишь, с кем он меня сравнивает? Этого уж я не прощу! — совсем осатанел Поликарпе.

Быстрее молнии Андукапар кинулся со своим креслом на Поликарпе, схватил его за запястье и потянул к себе. Видно, руку он скжали со страшной силой, потому что лицо у Поликарпе перекосилось, сморщилось, сначала он приподнялся на одной ноге и подался назад, как будто падал на спину, потом скрючился и рухнул на колени перед креслом, издав отчаянный вопль:

— Убиваешь, безбожник!

— Уберешься ты или нет отсюда?

— Ухожу, ухожу... Какого черта!.. Только отпусти руку!

Андукапар отпустил его, быстро повернул свое кресло и остановил его у окна. Поликарпе некоторое время стоял на коленях, болезненно морщился и растирал побелевшее запястье. Потом он медленно поднялся и пошел к двери, открыв которую, не оборачиваясь, пробормотал:

— Впервые вижу такое гостеприимство!

— Я тоже впервые вижу такого невежу и наглеца! — сказал Андукапар.

Богдана подошла к Андукапару, провела рукой по его волосам, наклонилась и поцеловала его.

— Разве стоило из-за этого мерзавца так горячиться? — Богдана обняла Андукапара обеими руками и прижалась щекой к его лицу. Оба они затихли и замерли.

Лука вышел на балкон.

Он был удовлетворен и счастлив. Опираясь обеими руками на перила, он смотрел на Куру, сверкавшую под мартовским солнцем. На берегу возились два белых щенка, вскакивали друг на друга, катались по земле, кусали за уши. У берега качалась пустая плоскодонка, на борту лодки сидела трясогузка.

Лука радовался. Он не думал, что Андукапар такой сильный, что у него столько силы в руках. Он все время вспоминал слова, сказанные как-то Поликарпе Гиркелидзе: «Разве Андукапар справится с такой женщины? Ай-ай-ай!». Он не до конца понимал значение этих слов, но они все равно омунили его и не давали покоя. В особенности отвратительное выражение лица Поликарпе, когда он это говорил.

А сейчас он своими глазами видел, как Андукапар поставил на колени Поликарпе Гиркелидзе, этого глупого, наглого человека.

Луке внезапно захотелось самому быть калекой, только чтобы за спиной так же, как Богдана, стояла Маико, наклонившись к нему, обхватив руками за шею и прижимаясь щекой к его лицу...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Маико только на третий день пришла в школу. Фонарь над глазом зажил, от него остался только лилово-желтый след.

Мито избегал Луку, не смотрел ему в глаза. Теперь он прицепился к Ираклию Девдариани, на переменах они вместе рыскали по коридору. Лука потерял свою долю хлеба. Он не знал, пополам они делили паек всего класса или третью часть сами отдавали учителю.

Синяки, полученные Лукой, очень заинтересовали одноклассников, но Лука быстро пресек их любопытство, коротко ответив, что его избили, и таким образом избавился от назойливых расспросов.

Появление Маико обрадовало его, но он не решился к ней подойти, почему-то чувствовал себя виноватым, особенно теперь, когда он собственными глазами увидел, как расправился калека со здоровенным детиной. Однако после уроков Маико и Лука все же встретились в коридоре. Рядом, молча пошли по коридору и спустились по лестнице. Выйдя на улицу, они увидели стоявшую у подъезда Богдану. Лука удивился и встревожился — не случилось ли чего. Но Богдана ласково ему улыбнулась, погладила по щеке и прижалась к груди. Потом сказала:

— Покажи-ка мне этого Ираклия Девдариани.

Ираклий и Мито стояли на углу. Ираклий, по обыкновению, курил, прислонясь к стене.

У Луки сжалось сердце от дурного предчувствия, поэтому он задержался с ответом, но Маико опередила его:

— Вон тот, с папиросой.

Богдана тотчас направилась к Ираклию, подошла к нему, хлопнула рукой по плечу и показала, чтобы он следовал за ней. Ираклий оторвался от стены и, немного растерявшись, пошел за Богданой. Они были почти одного роста. В глубине туника Богдана остановилась. Мито остался на месте, а Маико и Лука сделали несколько нерешительных шагов вперед.

Ираклий Девдариани, очевидно, пришел в себя, он уже вызывающе стоял перед Богданой, дымя папиросой ей в лицо.

— Это ты их поколотил? — спросила Богдана, указывая на Луку и Маико.

— А тебе какое дело, я или кто другой? Если понадобится, еще излуплю и одного и вторую!

Лука даже не успел заметить, когда Богдана размахнулась. Он услышал только звук затрецины и увидел растигнувшегося на земле Ираклия. Ираклий вскочил и как безумный кинулся на Богдану. Лука снова услышал треск пощечины, на сей раз Ираклий отлетел к стене.

— Не смей больше пальцем их трогать, иначе худо тебе придется! — Богдана обняла за плечи Маико и Луку и повела их по улице.

Все это случилось так быстро, что Лука не успел сообразить, что произошло. Только в сердце постепенно просачивался страх, он боялся, чтобы Ираклий не подкрался сзади и не ударил Богдану чем-нибудь, палкой или камнем. От Ираклия всего можно было ожидать. Причем, охваченный страхом, Лука не смел оглянуться назад и напряженно следил за Богданой.

— Пока я с вами, ничего не бойтесь, завтра спокойно идите в школу, я уверена, что он вас пальцем не тронет.

Все трое вышли на проспект и повернули налево. На углу Лука успел оглянуться украдкой и заметил, что ни Ираклия, ни Мито возле школы не было. Улица была пуста.

Богдана остановила фаэтон. Сначала посадила Луку и Маико, потом сама устроилась между ними.

— Куда? — спросил фаэтонщик.

— В Чугурети, — ответила Богдана.

Фаэтон двинулся. О такой роскоши Лука не смел и мечтать. После недавнего страха и напряжения неожиданное удовольствие расслабило его и разнежило. Медленное покачивание фаэтона, равномерное цоканье копыт, грузная фигура извозчика, перетянутая алым кушаком, все доставляло ему неизъяснимое блаженство...

Дома быстро убегали назад, дома и идущие по тротуару люди.

— Эй, Лука! — вдруг закричал кто-то. Лука увидел одноклассника. Уча Шавдия со всех ног бежал за фаэтоном, размахивая сумкой. Он радостно окликнул Луку и махал ему рукой. Лука помахал в ответ...

Фаэтон обогнал еще одного товарища Луки, потом другого. Теперь уже трое бежали за фаэтоном — обрадованные, сияющие... По дороге к ним присоединилось еще несколько ребят, идущих домой, Лука их тоже знал. Группа сопровождающих фаэтон постепенно росла. Они бежали с криком, толкали друг друга и прохожих и все же продвигались вперед, стараясь держаться поближе к фаэтону, кричали Луке что-то непонятное, возбужденные и сияющие заглядывали ему в лицо. Лука тоже радовался... Чему он радовался? Вдруг ему показалось, что все так и должно было случиться. Он возвращался домой с победой, так на чем же он мог вернуться, как не на фаэтоне?!

Дети проводили их до площади. Потом фаэтон сделал круг и выехал на узкую улочку. Здесь начиналась булыжная мостовая, и извозчик натянул по-водьЯ, замедляя ход. Лука только сейчас вспомнил о Маико: интересно, в каком она настроении.

Маико всем телом прижалась к Богдане, обеими руками обхватив ее локоть. Притворяясь спящей, она прикрыла глаза, потом словно почувствовав на себе взгляд Луки, открыла глаза и взглянула на Богдану с восторгом и надеждой.

— Я не мешаю вам? — спросила она. Богдана улыбнулась ей, похлопала по щеке, убрала с лица волосы. Манко блаженно поежилась, снова положила голову Богдане на плечо и закрыла глаза: вот-вот замурлычет, как кошка!

Луке всю дорогу казалось или, вернее, он почему-то внутренне был убежден, что Маико переживала то же самое, что и он. И ему стало как-то не по себе, когда он увидел ее такой подозрительно затихшей. С чего это она так прилипла к совершенно посторонней женщине? Лука почувствовал что-то, но это «что-то» было не до конца ясным. Он опять вспомнил, как безжалостно излуцил и его, и Маико Ираклий Девдариани. Как самоотверженно заступилась Маико за Луку перед этим верзилой, а сам он пальцем не пошевелил, когда Ираклий колотил Маико. Стоял перепуганный и смотрел как последний трус... Что-то заныло, что-то надломилось у Луки в самой глубине сердца.

Конечно, Маико убедилась сегодня, что Лука не сделал того, что мог бы сделать, и главное, не таким уж героем оказался и непобедимый Ираклий Девдариани. Нет, Лука не смог бы его одолеть, но не в этом дело... Можно и поражение вынести с достоинством...

Фаэтон остановился возле церковного двора. Маико поцеловала Богдану и осторожно сошла. Потом нетвердым шагом направилась к воротам. Лука следил за ней взглядом, так как был уверен, что, прежде чем скрыться за церковью, она хоть раз обернется. Но он ошибся, Маико не обернулась, скованной, неловкой походкой шла она мимо церкви...

Извозчик тронул коней, и фаэтон двинулся...

Когда Богдана и Лука предстали перед Андукапаром, Богдана виновато улыбнулась мужу:

— Я ведь говорила однажды, что не могу смириться с некоторыми христианскими догмами. Сегодня я проверила себя, и оказалось, что я была права.

— Что ты наделала, Богдана? — растерялся Андукапар.

— Ничего особенного. Я вынуждена была побить одного парня,

— Что значит «была вынуждена»?

— Да, именно так.

— Я не могу в это поверить.

— А я не встречала второго такого наглеца.

— Ты ударила его.

— Два раз.

— Богдана!

— Что поделаешь... Случается!

Назавтра Лука с колотящимся сердцем шел в школу. Во-первых, он все-таки побаивался Ираклия Девдариани, он был уверен, что Ираклий так легко не успокоится и не простит оскорблений ни Луке, ни Маико. Вдобавок он сам уже стыдился того, что призвал в защитники женщину. Если бы Богдана была мужчиной, еще другое дело. А сейчас что получилось? Весь класс может с полным правом издеваться над ним. Пугала Луку и предстоящая

встреча с Маико. Ему было непонятно ее внезапное вчерашнее преображение, неожиданная перемена, которую он заметил в фаэтоне.

Но с Маико он столкнулся сразу по дороге в школу. Маико выглядела очень довольной и с особым удовольствием вспоминала вчерашнюю прогулку на фаэтоне.

— Хорошо было, правда?

— Да, очень.

— Замечательная женщина Богдана.

— Да, очень... Ты еще не знаешь, Маико, как она ухаживает за моей тетей. Если бы не Богдана, мы бы пропали.

— Андукапар любит ее?

— Очень...

— Я впервые в жизни каталась на фаэтоне.

— Правда? — удивился Лука.

— Ты видел, как за нами все бежали?

— Конечно, а я думал, что ты спала всю дорогу и ничего не видела.

— Я спала? Да ты что! Мне так хорошо было, и Богдана такая чуткая...

— Ты увидишь, как нас сегодня встретят ребята!

— Знаю, я даже собиралась задрать нос, но...

— Что «но»? — спросил Лука.

— Я немного боюсь Ираклия.

— Не бойся! — успокоил ее Лука. — Я буду стоять насмерть.

— А если он опять нас побьет?

— Не бойся, Маико!

Ираклий Девдариани в школу не явился. И не только на следующий день, но и вообще больше не появлялся.

Что касается одноклассников, которые накануне с криком и гамом бежали за фаэтоном, то они никакого особенного внимания не обратили на вчерашних триумфаторов. Более того, никто даже не поинтересовался, по какому поводу они каталась вчера на фаэтоне.

И еще одно: в тот день весь класс поровну разделил свой паек хлеба.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Весна оказалась для Андукапара роковой, он вдруг начал полнеть, вернее, стал распухать на глазах. Врачи не могли сказать ничего утешительного. Медицина оказалась бессильной хотя бы на некоторое время приостановить этот ужасный процесс.

Богдана была в отчаянье.

Вот о чем говорила она с Лукой одним майским утром в очереди за керосином:

Лука: — Как он спал сегодня?

Богдана: — Плохо.

Лука: — Ничем нельзя помочь?

Богдана: — Это знает один бог.

Лука: — А что сказал доктор? Ведь он вчера приходил?

Богдана: — Он даже не стал его осматривать, только поглядел и пожал плечами. Я спросила, отчего он распухает. Если бы, говорит, мы это знали, мы бы его вылечили.

Лука: — А может, это у него пройдет?

Богдана: — Я и это спросила — может, говорю, пройдет? Может, все дело в весне? Может, отвечает, и пройдет, хотя такой гарантии никто вам дать не может. Но знаешь, Лука, мне почему-то кажется, что это не временное явление. Дело плохо, очень плохо!.. Если с Андукапаром случится что-нибудь, я, наверно, покончу с собой... Ты ведь знаешь, что за человек Андукапар!

Лука: — Знаю.

Богдана: — Вчера я пошла в Кацуэтскую церковь и там молилась.

Лука: — Неужели ничего нельзя сделать?

Богдана: — Он очень ослаб. Лука, совсем обессилел. Ты же помнишь, каким он был сильным, а теперь чашку поднять не может, с трудом пьет чай. Как все это быстро произошло, господи... За каких-нибудь полтора месяца... У меня сердце вот-вот разорвется.

Лука. (Отводит глаза в сторону, с трудом сдерживается, чтоб не заплакать).

Богдана: — От Андукапара ничего не скроешь, он лучше всех сам понимает, что с ним. Знает, что здоровье его подорвано окончательно и то, что он

потерял, восстановить уже невозможно. (После паузы). Он тебя очень любит. Лука, ты его единственный друг. Недавно он сказал: Господи, убей меня и забери отсюда так, чтобы Лука не видел моей смерти.

Лука. (Стоит спиной к Богдане, незаметно старается достать платок из кармана, якобы для того, чтобы высыпаться. Потихоньку от Богданы вытирает слезы).

Богдана: — Как несправедлива судьба! Почему должен умереть такой добрый, такой благородный человек, когда столько мерзялцев живет и процветает?! Он ведь ничего дурного не сделал, а только расточал вокруг себя любовь, доверие, благородство! Ты не слышал, как он отругал меня в тот день, когда я пришла к тебе в школу, чтобы рассчитаться с тем парнем. Честно говоря, теперь я сама сожалею, что так поступила... Тем более, раз этот парень после того совсем бросил школу... (Снова молчание. После паузы). Лука, дорогой, скажи мне, ради бога, кто такая Мтвариса?

Лука (растерянно): — Мтвариса?

Богдана: — Ты ведь знаешь, кто она?

Лука: — А почему ты спрашиваешь?

Богдана: — Знаешь или нет?

Лука: — Знаю.

Богдана: — И что же?

Лука: — Почему ты спрашиваешь?

Богдана: — Пойми меня правильно, Лука. В последнее время он часто вспоминает Мтварису, и я поняла из его слов, что она каким-то образом связана с тобой.

Лука: — Я только раз видел Мтварису в сумасшедшем доме, но когда я снова пришел туда, мне сказали, что никакой Мтварисы не существует.

Богдана: — Но не мог же ты сам придумать Мтварису и померещиться она тоже тебе не могла. Или... Может, ты видел ее во сне, но так ясно, как наяву?

Лука: — Нет, нет! Я видел ее на самом деле, а потом уже она мне снилась.

Богдана: — Тогда почему же ты говоришь, что Мтварисы не существует?

Лука: — Не знаю... Мне сказали, что там нет никакой Мтварисы и никого не было. Сторож сказал, что там прачечная и ничего больше!

Богдана: — Может, сторож ошибся?

Лука. (Пожимает плечами).

Богдана: — Хочешь, пойдем вместе?

Лука: — Мне все равно. Я могу пойти сейчас же. Керосина все равно нет.

Богдана: — Я тоже хочу, чтобы Мтвариса существовала, потому что так хочет Андукапар.

Лука: — Хорошо. Я пойду.

Лука ушел.

Он понял, что Богдана больше знала о Мтварисе, чем ему показывала. Очевидно, Андукапар сказал ей все, сказал и то, почему он мучился ею, почему его так мучила Мтвариса. Но Луке оставалась непонятной и неясной причина этих мук. Почему существование или отсутствие Мтварисы должно было доставлять такую боль Андукапару?

Лука вспомнил ту ночь, когда впервые сказал Андукапару, что Мтварисы не существует. Тогда Андукапар страшно развелся, а Лука был удивлен и ошеломлен его волнением. С тех пор он не думал больше о Мтварисе, она больше не снилась ему. Теперь он даже сожалел о том, что когда-то увидел голую девушку за решеткой, девушку, которая призналась ему в своих страданиях, сожалел и о том, что доверил увиденное и пережитое Андукапару.

По Горшечной улице он спустился на Пески и от площади поехал троллейбусом до старой кирки. Лука не особенно надеялся, что ворота больницы будут открыты. Так и случилось, железные ворота были заперты наглухо. Напрасно бродил он взад и вперед вдоль забора, потом, разочарованный и огорченный, вернулся домой, глубоко уверившись, что никто никогда не сможет установить, существовала или нет Мтвариса на самом деле.

Минув Горшечную улицу, Лука увидел, что возле керосиновой точки не было никакой очереди. Сама лавка оказалась закрытой. Вернувшись домой, он застал Богдану и Андукапара на балконе. Богдана, опираясь обеими руками в спинку кресла, катала Андукапара, чтоб он дышал свежим воздухом. Заметив Луку, она показала ему глазами, чтобы он ничего ей сейчас не говорил. Распухший, бледный Андукапар лежал, бессильно откинувшись на спинку кресла. Беспомощные отекшие руки были сложены на животе. Он чуть заметно улыбнулся Луке. Потом закрыл глаза, и на его пепельно-сером лице вновь разлилось холодное спокойствие.

— Керосин так и не привезли, — сказала Богдана.

— Я догадался.

— Завтра обещают.

— А завтра я иду в школу.

— Я принесу и для вас, и для себя, завтра я работаю в ночной стемне.

Лука перегнулся через барьер и поглядел на Куру. Вода в реке уже так поднялась, что залила берега и доходила до дворовой стены. Она неслась, разъяренная, мутная, пенистая, билась о кирпичную стену, врезавшуюся в ее течение, и с рокотом закручивалась в водовороты, одной волной накрывала другую, образовывала огромные воронки, похожие на пасть дракона.

Лука улучил время и незаметно показал Богдане, что ворота были заперты. Богдана кивнула: понимаю. Потом сказала:

— Я напоила тетю Нато чаем. Иди и ты выпей, пока горячий.

— Я потом.

— Потом не разогреешь, нет керосина.

— Ну и не надо. Мне не хочется.

Андукупар раскрыл глаза и устремил их на Луку. Лука понял, что означал этот взгляд, но не двинулся с места.

— Ступай, поешь... Слушайся Богдану, Лука.

Лука молча отошел от деревянного барьера и направился к галерее.

Тетя Нато, очевидно, услышала, как он открыл дверь, взглянула на него из глубины комнаты и показала здоровой рукой, лежавшей поверх одеяла, чтобы он подошел.

Лука встал на колени перед кроватью.

— Как ты, тетя Нато?

Тетя Нато шевелила губами, и на лице ее показалось жалкое подобие улыбки. Потом здоровой рукой она ласково прикрыла руку племянника.

— Ты пила чай? — спросил Лука. По обеим щекам тети Нато скатились слезы, Лука вытащил из-под подушки платок и вытер ей глаза.

Внезапно с шумом открылась дверь, и на пороге своей комнаты возник Поликарпе Гиркелидзе. Он запер за собой дверь на ключ и поздоровался с больной:

— Здравствуй, тетушка! Сегодня ты получше выглядишь! — он даже не поглядел на тетю Нато и не поздоровался с Лукой.

— Я, пожалуй, тоже выпью чай, — сказал Лука тете Нато и встал.

Вода в чайнике, конечно, уже остыла, поэтому Лука просто съел свою долю черствого хлеба и снова вышел на балкон.

— Лука, иди сюда! — позвала Богдана. — У Беришивили что-то происходит...

Лука подбежал к перилам и выглянул во двор. На первом этаже и в самом деле что-то происходило, там деловито сновали какие-то люди. Но самым интересным было то, что среди этих людей был и почтенный Поликарпе. Дверь в комнату Беришивили была распахнута, кто-то выносил на балкон вещи, и, естественно, всем этим заправлял Поликарпе Гиркелидзе. Самого Датико Беришивили нигде не было видно.

— Кажется, Лука, тебя выселяют, — сказал Андукупар.

— Выселяют? — не поверил Лука.

— Именно, это уже решено на небесах.

— Кто это решил?

— Поликарпе Гиркелидзе, твой дорогой родственник. Я знал, что этим кончится... Жаль, что я занемог и у меня нет сил, чтобы рассчитаться с этим «родственником»!

— Я не допущу такой несправедливости! — вспыхнула Богдана.

— Тебя никто не спросит, моя дорогая... Кто ты такая, Богдана Вайда, моя жена, мой добрый друг?! Ты так же беспомощна, как и я, как Лука, как тетя Нато! Это зло не остановишь одним только добрым сердцем, оно тебя растопчет, уничтожит, сравняет с землей! С этим злом может справиться только сила, большая, всеподавляющая сила, которой у нас нет.

— И ты мне говоришь это, Андукупар?! Ты?! Тогда для чего же добро, если оно не будет противостоять злу?!

— На сей раз дела обстоят несколько иначе.

— Разве на свете нет справедливости, закона?! Ведь закон — одно из выражений добра?

— Богдана, они сейчас действуют именем закона, вернее, якобы в рамках закона. Я уверен, что Датико Беришивили согласовал все вопросы где следует. Вместе с тем, у него на руках все документы, которые дают право на обмен. А знаешь ли, что значит, когда зло действует именем закона?!

Суета и беготня на первом этаже не утихали. Какие-то мужчины выносили из комнаты мебель, посуду; матрацы и одеяла грудой были навалены на перила. Лука растерянно глядел на первый этаж, на здоровенных мужчин,

которые тащили по балкону, не щадя сил, огромные шкафы. На балкон вышли и другие соседи, но они не принимали никакого участия в этих хлопотах. Скрестив на груди руки, они суровым молчанием выражали свое возмущение, время от времени поглядывали на Луку и сочувственно покачивали головами, как бы говоря: что же делается, какая возмутительная несправедливость! Несколько раз на Луку взглядал и дядя Ладо, выразительно уделяя себя кулаком в грудь. Он вместе с Изей стоял под липой, которая только-только покрылась молодой листвой.

Поликарпе выбрал четырех мужчин и повел их по балкону первого этажа.

— Сейчас они поднимутся сюда и вынесут тетю Нату вместе с кроватью, — сказал Андукапар.

Лука вдруг оторвался от барьера, влетел в галерею, запер дверь изнутри. Он видел из окна лестницу, и в ожидании чего-то неизвестного и страшного сердце у него бешено колотилось. Он ни о чем не думал, пронзенный одной мыслью — никому не открывать дверей, если даже это будет стоить ему жизни. Он испуганно взглянул на тетю Нату. Она спокойно спала в своей постели.

Вскоре над лестницей выросла лысая головая почтенного Поликарпе. Он деловой походкой направился к галерее. За ним следовали четверо дюжих мужиков.

Поликарпе взялся за ручку двери и очень удивился, когда дверь ему не подчинилась. Он еще раз налег на дверь и, недоумевая, заглянул в окно. Здесь он столкнулся с взглядом Луки и сразу рассвирепел:

— На что это похоже!

Но он быстро овладел собой, спокойно оглядел балкон и, словно к кому-то обращаясь, проговорил с деланной улыбкой:

— Вы только посмотрите на этого молокососа! Он запер дверь изнутри! Открой сейчас же эту проклятую дверь!

— Не открою!

— Как это — не открою!

— А вот так — не открою!

Поликарпе снова засмеялся и подергал за ручку двери.

— Посмотрим, до каких пор ты будешь сидеть взаперти!

Лука видел из окна багровое от досады лицо Поликарпе. Его помощники спокойно стояли у него за спиной и терпеливо ждали дальнейшего развития событий. Потом на тот участок балкона, который находился в поле зрения Луки, выехала коляска Андукапара, вслед за ней появилась Богдана, управлявшаяся обеими руками в спинку кресла.

— Не рановато ли вы затеяли обмен, почтенный Поликарпе? — спросил Андукапар.

— Это тебя не касается, дорогой сосед! — ответил Поликарпе и как будто про себя добавил: — Что за хамство — вмешиваться в чужие дела!

— По-моему, кроме вас, здесь никто в чужие дела не вмешивается, а что касается хамства, то я еще не встречал более наглого и непорядочного человека, чем вы!

Поликарпе не обратил никакого внимания на слова Андукапара, словно не слышал ничего. Но через некоторое время он неожиданно взбеленился, затряс дверь и заревел:

— Открой сейчас же, бездельник, иначе я высажу дверь!

— Не открою! — спокойно ответил Лука, он и вправду немного успокоился при виде Богданы и Андукапара.

— Я вызову милицию! — крикнула Богдана.

— Хоть милицию, хоть полицию! У меня на руках документ, подписанный старухой! — огрызнулся Поликарпе и снова обернулся к Луке: — Я тебе говорю — открой немедленно!

Лука, разумеется, не открыл. Тогда Поликарпе дал знак безуспешно стоявшим помощникам, и они впятером налегли на дверь. Лука поторопился скрыться, так как видел, что сила противника превосходила прочность двери.

Дверь с треском поддалась, все пятеро ворвались в галерею и окружили кровать тети Наты.

— Тихонько, теперь тихонечко! — предупредил Поликарпе.

Мужчины осторожно сдвинули кровать, потом так же осторожно подняли ее. Лука вдруг вспомнил, как выносили из этой комнаты тетю Нуцу и на мгновенье у него в глазах потемнело. Придя в себя, он схватился за ножку кровати, и крикнул: «Не трогайте!» — но что он мог поделать!

Тетю Нату тоже вынесли из галереи, но не в гробу, как ее сестру, а в собственной кровати. Лука побрел следом. Подойдя к лестнице, мужчины вдруг опустили кровать и поставили ее на пол. Поликарпе побагровел, засуетился, охваченный внезапным страхом и волнением, словно бы собирался бежать и не

мог. Луке показалось, что кто-то поднимался по лестнице, кто-то, внушиавший его врагам страх и ужас. В наступившей тишине явственно раздавались тяжелые шаги.

Вскоре на балконе, опираясь на палку, показался высокий человек в военной форме с маленьким чемоданом.

— Что здесь происходит?! Куда вы несете эту женщину? — спросил офицер.

Это был Гоги Джорджадзе — отец Луки.

Лука не успел произнести ни слова, потому что потерял сознание.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Луку через несколько минут привели в себя, отец носил его по балкону, как маленького ребенка.

Волнение и суматоха угасли, двор затих. Соседи, которые по пятам за Гоги Джорджадзе поднялись на балкон второго этажа, не в силах подавить возмущения и негодования, теперь, вполне удовлетворенные, вернулись назад. В этой неразберихе Поликарпе Гиркелидзе куда-то испарился, ускользнул незаметно, и никто не мог его найти ни тогда, ни после.

Тетю Нато вместе с ее кроватью снова водворили на место. Вторую комнату, из которой несколько месяцев назад Поликарпе выселил Луку, с большим трудом открыли. На столе, кроме круга колбасы и хлеба, обнаружили четыре письма, посланные майором Джорджадзе из госпиталя. Почтальон передавал эти письма лично Поликарпе Гиркелидзе. За это почтенный Поликарпе вручал ему по пять рублей за каждое письмо. Почтальон этого не скрывал, обо всем рассказал чистосердечно, ибо был уверен, что доставлял письма по назначению, одному из членов семьи.

Поликарпе, разумеется, знал, что Гоги Джорджадзе через несколько дней объявится в Тбилиси и поэтому старался как можно скорее переселить тетю Нато, но расчет его не оправдался. Гоги Джорджадзе поспешил и приехал раньше предполагаемого срока. А спешил он потому, что ни на одно из своих четырех писем не получил ответа.

Тетя Нато весь день плакала и смеялась. Весь день старалась что-то сказать своему зятю, но никак не могла. Ей только удавалось показать ему, чтобы он держался к ней поближе и не покидал ее. Гоги Джорджадзе сидел возле ее изголовья и обещал ей перевернуть весь мир и найти свою жену, мать Луки.

— Зачем, зачем она поехала, — твердил он, — я ведь предупредил ее, чтобы она не выезжала из Тбилиси.

Гоги Джорджадзе дал деньги Богдане. Богдана и Лука пошли на рынок за провизией. Лука сам попросил, чтобы его взяли. В странном он был состоянии — ему было трудно находиться дома, с отцом, наверно, от чрезмерной радости и волнения, поэтому он решил на некоторое время выйти из дома, чтобы в шуме и суете базара немного перевести дух.

Стол вынесли из другой комнаты и поставили возле кровати тети Нато. Пообедали все вместе: отец, Лука, тетя Нато, Андукарар и Богдана. Честно говоря, тетя Нато почти ничего не поела, Богдана проглотила несколько ложек украинского борща, который сама сварила.

Потом Андукарар и Гоги Джорджадзе долго беседовали, из этой беседы Лука заключил, что положение на фронте немного изменилось, хотя и не настолько, чтобы можно было успокоиться и ни о чем не тревожиться.

Установить личность и адрес Поликарпе Гиркелидзе так и не удалось. Тетя Нато ничего сказать не могла, а отец Луки даже приблизительного представления не имел, кто он такой, откуда и с какой стороны приходится родней. Когда у тети Нато спросили, подписывала ли она какую-нибудь бумагу, она ответила утвердительно, но она даже понятия не имела, какой документ заставил ее подписать Поликарпе Гиркелидзе.

Лука за весь день не произнес ни слова, молча смотрел на отца с чувством тайной гордости. Он уже верил, что отныне все будет хорошо, что мама отыщется и вернется так же, как вернулся отец. Но, узнав, что отец через два месяца снова уезжает на фронт, Лука опять встревожился. За эти два месяца отец должен был залечить раны на плече и на правой ноге.

Мирная беседа между Гоги Джорджадзе и Андукараром продолжалась недолго, вечером тетя Нато начала хрипеть и очень скоро, через каких-нибудь сорок или пятьдесят минут, скончалась. Не успели даже вызвать врача. Бедная тетя Нато! Она умерла в день приезда зятя.

Тетю Нато похоронили рядом с сестрой на Кукийском кладбище. На панихиду и похороны приходил весь класс. Однажды пришел и Мито, попросил у Луки прощения.

— При чем здесь ты, — ответил ему Лука, — нас с Маико избил Ираклий Девдариани.

Мито ничего на это не ответил, с досадой махнул рукой и отошел. Маико приблизилась к Луке, приветствуя его, и сказала, что Маико изменилась, хотя и делала вид, что ничего не произошло. Да и сам Лука был очень сдержан по отношению к Маико. При встрече он уже не выражал радости, как прежде, чего-то стеснялся, робел.

На третий день после похорон Датико Беришвили поднялся к Гоги Джорджадзе.

— Здравствуй, Гоги! — вежливо поздоровался он.

— Здравствуй!

— Хорошо, что ты вернулся невредимым!

— Не таким уж невредимым, как тебе кажется.

— Это пустяки! Главное, что ты жив!

— Знаешь, что я тебе скажу, Датико, я не люблю бродить вокруг да около, и лучше давай, говори прямо, зачем пожаловал.

— Хотел поздравить тебя с возвращением.

— А все-таки?

— Мы должны понять друг друга.

— Скажи, что тебе надо, и если это можно понять, я тебя пойму.

— Другого выхода нет.

— Что ты имеешь в виду?

— Обмен уже совершен, осталось выполнить кое-какие формальности.

— Какие-那样的 формальности?

— Ты должен перейти в мою квартиру, а я вселюсь сюда.

— Это почему же?

— Потому что так решено.

— Кем решено?

— Основной квартиросяъемщик у вас тетя Нато, а ее согласие, если хочешь знать, лежит у меня в кармане.

— Покажи-ка.

Датико Беришвили достал из внутреннего кармана пиджака сложенную вчетверо бумагу и передал отцу Луки. Тот, не раскрывая, разорвал ее, смял и отбросил в сторону.

— Сейчас же убирайся отсюда! — сказал Гоги Джорджадзе. — Мне теперь не до твоих темных делишек. Я занят!

— Ах, вот как?

— Может, ты мне еще угрожать станешь, а?

— А если и стану, что с того?

— Пожалуйста, угрожай! Только учти, что я не только тебя, а даже танка не испугался.

— Танк танком, а я — совсем другое! Запомни, дорогой, я — совсем другое дело!

— Да будь кем угодно, а теперь убирайся.

— Ишь как просто ты хочешь от меня отделаться.

— Я не понимаю, чего ты ко мне пристал?

— Подумай, Гоги, хорошенько подумай, даю тебе два дня сроку!

— Мне нечего думать. Если ты дорожишь своей башкой, убирайся немедленно и больше не показывайся мне на глаза.

Датико Беришвили ничего не сказал, злобно усмехнулся, поднял с полу скомканные клочья бумажки и спешно покинул комнату.

Гоги Джорджадзе долго сидел молча, о чем-то глубоко задумавшись. Лука в это время был в галерее и готовил уроки. Он все видел и слышал. Почему-то думал, что отец войдет к нему и что-нибудь скажет о Датико Беришвили, но ошибся, отец не только не выходил, но даже не глядел в сторону галереи, продолжая сидеть, облокотившись на стол обеими руками.

Отец казался задумчивым и невеселым не только сегодня, но с первого дня приезда. Лука чувствовал это, тем более что его задумчивость и грусть, боль или тревога делались с часу на час заметнее. Лука ощущал и то, что между ним и отцом внезапно выросла непреодолимая и непроницаемая преграда. Можно сказать, что Лука впервые получил возможность быть рядом с отцом и все же не мог с ним сблизиться так, как ему это представлялось в мечтах. Может, так получилось оттого, что отец потерял свою былую веселость и не-принужденность. А если потерял, то в силу каких причин? Причин было много, но больше всех одна из них лишала Луку покоя: а вдруг отец знает, что с мамой, и скрывает от него?

— Лука, поди сюда! — вдруг позвал отец.

Лука быстро поднялся и вошел в комнату.

— Как дела, Лука?



— Хорошо.

— Ты ведь не боишься Датико Беришили?

— Нет!

— Ты уже взрослый парень, Лука... Ты ничего не должен бояться! Здравствуйте через неделю
два месяца я, наверно, вернусь на фронт. Два месяца — большой срок, я все уляжу и приведу в порядок. Может, я запру эту квартиру и отвезу тебя в Телави к моему дяде. Может, придумаю что-нибудь другое, не знаю, я еще не решил. Так или иначе, что-нибудь сделаю. И ты ничего не бойся... Тем более Датико Беришили, этого трусивого прохвоста и мошенника.

Датико Беришили не забыл о назначенному сроке, через два дня он снова явился к Гоги Джорджадзе.

— Здравствуй, Гоги!

— Здравствуй.

— Как поживаешь?

— Отлично, а ты как?

— Я тоже неплохо.

— Ну и слава богу!

— Если мы не сговоримся...

— Я тебе уже сказал — не сговоримся, — прервал его Гоги Джорджадзе.

— Для тебя было бы лучше, если бы мы сговорились.

— Чем же лучше?

— Как я слышал, ты через два месяца возвращаешься на фронт?

— Что из этого следует?

— Я бы взял на себя опеку над твоим сыном, а так — на кого ты его оставил?

— Это тебя не касается.

— Ты же знаешь, что я хозяин своего слова.

— Ничего я не знаю.

— Гоги, почему ты меня дразнишь?

— Я тебя дразню?!

— Ладно. Тогда найди этого пройдоху Гиркелидзе и верни мои деньги.

— Какого Гиркелидзе?

— Вашего родственника.

— У меня нет такого родственника.

— Мне все равно, твой это родственник или твоей жены.

— Не знаю.

— И я не знаю. Верните мне мои деньги!

— Сколько же ты ему отдал?

— Сто тысяч рублей.

— Как же ты доверил ему такую сумму, если знал, что он пройдоха?

— Я еще раз повторяю: найди этого человека и верни мне мои деньги.

— А я еще раз прошу тебя, Датико, мне не угрожать.

— Я свое сказал, Гоги... Дальше смотри сам!

— Вот и ладно. А теперь будь добр, оставь меня в покое.

— Боюсь, что ты меня недостаточно хорошо знаешь.

— Еще узнаю. Времени достаточно.

— Я про то говорю, как бы тебе потом не пожалеть.

— А о чем мне жалеть? — Отец Луки поднялся и, прихрамывая, прошелся взад и вперед по комнате. — Даже смерть этой бедной женщины сошла ему с рук, так он, наглец, еще и угрожает! Убирайся отсюда, бессовестный!

— Между прочим, эта «бедная женщина» до твоего приезда была жива... Уж не знаю, что с ней потом стряслось! — Датико Беришили круто повернулся и вышел.

Лука вспомнил тетю Нато. Вспомнил, как удивительно она походила в гробу на свою ранее умершую сестру — тетю Нуцу. Ощущив ноющую боль внутри, Лука не сразу понял, что мучила его пустая кровать тетушки, железная кровать, в которой никто уже не лежал и никогда больше не ляжет...

— Лука! — окликнул его отец.

Лука вошел в комнату.

— Как жизнь, Лука? — спросил отец и улыбнулся.

— Отлично!

— Ты ведь ничего не боишься, сын?

— А чего мне бояться?

— Правильно, сынок, ты уже совсем взрослый.

Видно, не такой уж я взрослый, раз мне на каждом шагу об этом твердят, подумал Лука. А все-таки чего я должен бояться? И в самом деле, чего ему бояться? Он не замечал вокруг ничего такого, чего следовало бы опасаться, особенно теперь, когда рядом был отец. У него не возникало никаких предчувствий, и сердце не подсказывало ему, что беда была совсем рядом.



Однажды ночью в дверях галереи появился незнакомый мужчина и спросил Гоги Джорджадзе. «Это я», — сказал отец Луки. «Спуститесь на минутку во двор», — вежливо обратился к нему незнакомец. «А в чем дело?» — удивился Гоги Джорджадзе. «Там вас ждут старые друзья», — с этими словами незнакомец исчез.

Лука заметил, что отец сначала задумался, потом не на шутку встревожился. У Луки так заколотилось сердце, что на мгновенье он словно оглох и ничего не слышал, кроме ударов собственного сердца.

Гоги Джорджадзе быстро надел китель и подпоясался широким армейским ремнем, все это он проделал так ловко и молниеносно, как по сигналу боевой тревоги. Потом он вынес из соседней комнаты револьвер, проверил его и сунул в карман. Опираясь на палку, Гоги Джорджадзе вышел в галерею, и Лука еще раз убедился, что отец чрезвычайно взъярен.

— Не ходи! — взмолился Лука.

— Почему? — неожиданно для Луки спросил отец.

— Не ходи! Мне страшно...

— Не бойся, ничего со мной не случится!

Дверь галереи была открыта. За дверью начиналась тьма, такая густая, хоть глаз выколи. Отец уже собрался выходить, но, взглянув во мглу, почему-то остановился.

— Ты не выходи, слышишь? Оставайся дома!

— Поторопитесь, вас ждут! — снова раздался голос незнакомца.

— Кто меня ждет? — спросил Гоги Джорджадзе.

— Не знаю, наверно, ваши друзья. Меня просто попросили вас позвать.

— Передай, что я сейчас иду.

Отец колебался. Он закурил папиросу, поглядел на Луку, что-то хотел ему сказать, но не успел. В это время в открытой двери галереи показалась Богдана.

— Не ходите, Гоги... — сказала Богдана. — Я недавно проходила через двор. Возле голубятни пятеро мужчин — Датико Беришивили, Рубен, троих я не узнала. По-моему, это те самые, которые приходили, чтоб перенести тетю Нато. Не ходите, очень темно, и вы ничего не разглядите...

— Гоги, послушайся Богдану, сейчас не время туда идти... — Это голос Андукапара, идущий из темноты.

— Вы присмотрите за Лукой, я сейчас приду! — Гоги Джорджадзе ступил во тьму. Перед уходом он бросил на пол горящую папиросу и раздавил ее кабуком.

Богдана пошла за ним, следом — Лука.

Богдана вывела Луку на балкон, оба перегнулись через барьер. Андукапар был уже там на своем кресле.

Во дворе стоял мрак, и ничего не было видно, не только двор, но весь город был погружен в ночную мглу.

— Гоги уже на лестнице первого этажа, — сказала Богдана.

— Не надо было ему спускаться, — отозвался Андукапар.

— Мы виноваты, не должны были его пускать! — это опять Богдана.

Возле голубятни трижды прогремел выстрел, сопровождаемый огненной вспышкой. В ответ со стороны лестницы тоже раздались выстрелы. Этот ужасный звук повторился несколько раз с той и с другой стороны.

— Кажется, Гоги ранили! — крикнула Богдана, отрываясь от перил.

— Папа! — закричал Лука и отскочил от барьера.

Богдана и Лука бегом спустились по лестнице... Лука бежал вслепую, ничего перед собой не видя.

— Вас ранили, Гоги? — услышал Лука возглас Богданы.

— Да, попали-таки, мерзавцы!

Лука нашел в темноте отца, обхватил руками его колени и заплакал:

— Папа!.. Папа!..

— Не бойся, сынок, меня чуть-чуть царапнуло... пустяки.

— Вы знаете, кто стрелял? — спросила Богдана.

— Кто?

— Рубен.

— Поглядите на этого Коротышку! Оказывается, он умеет стрелять...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Богдана подставила плечо отцу Луки и попыталась поднять его по лестнице. Не прошло и минуты, как во двор ворвались патрульные. Солдаты осветили двор карманными фонариками и бросились к лестнице. Их было двое, в руках они держали короткие карабины. При свете фонарей они внимательно оглядели и отца Луки, и Богдану.

— Что случилось, товарищ майор? — спросил один из них у Гоги Джорджадзе.

— В меня стреляли, — коротко ответил тот.

— Вы ранены?

— Да, попали в плечо... Я думаю, рана пустяковая.

— Кто они?

— Не знаю.

— Наши ребята пустились за ним в погоню... Наверно, схватят.

Как бы в подтверждение этих слов издалека снова раздались выстрелы. Один, второй, третий...

— Может, отвезти вас в госпиталь? Мы на машине, товарищ майор.

— Пожалуй, так будет лучше.

— Папа! — вскрикнул Лука.

— Рана есть рана, сынок, надо сделать перевязку... Богдана, присмотри за ним... Я, наверно, завтра или послезавтра вернусь.

Патрульные с обеих сторон подхватили Гоги Джорджадзе и осторожно повели его. Богдана обняла Луку за плечи, и они медленно пошли вверх по лестнице. На балконе их поджидал Андукуптар.

Они вошли в комнату к Андукуптару, закрыли ставни и зажгли лампу. Лука съежился на тахте, стиснул сжатые в кулак руки и до боли прикусил зубами большие пальцы. Сердце подсказывало ему, что отец был ранен гораздо тяжелее, чем ему показалось. Когда патрульные навели на него фонарь, Лука заметил, как обильно стекал по его лицу пот.

— Стрелял Рубен, — проговорила Есгдана прерывающимся голосом. Она выглядела очень встревоженной, бледная, ходила взад-вперед по комнате и ломала пальцы. — Я своими глазами видела.

— Все ясно, как день.

— Трудно поверить, что Датико Беришвили так глуп. Ведь завтра все раскроется.

— Не так он глуп, как тебе кажется... Ни завтра, и ни послезавтра... — как видно, Андукуптару было тяжело говорить, он отрывочно выбрасывал отдельные слова.

— В чем дело? Чего добиваются эти люди?

— Со всеми нами что-то происходит, и мы не можем понять, что, — сказал Андукуптар. Лука одним ухом прислушивался к беседе Андукуптара и Богданы. У него перед глазами все стояло искаженное болью, залитое потом лицо отца. Он не верил и не мог поверить, что коротышка Рубен мог причинить его отцу такое зло. За что?! Ведь Гоги Джорджадзе ничего плохого ему не сделал!

Лука поглядел на Андукуптара и невольно поднялся с места, Андукуптар бессильно лежал в своем кресле. Глаза его были затянуты какой-то пеленой, или он заснул с открытыми глазами. Обе руки, свесившись с кресла, беспомощно раскачивались. Дышал он так часто, что казалось, вот-вот испустит дух.

Лука подошел к Богдане и прошептал:

— Он спит?

— Спит, — таким же шепотом ответила Богдана. — Пусть заснет покрепче, и я перенесу его в кровать.

Кто-то постучал в дверь.

— Кто там?

— Военный патруль... Вести от майора.

Богдана отворила ставни. В комнату вошел безбородый молодой солдат и вежливо поздоровался. «Все в порядке», — сказал он, — майор лежит в таком-то госпитале и чувствует себя хорошо».

— Его отвезли в твою бывшую школу, — сказал Андукуптар, задравшись в своем кресле.

Вежливый патрульный попрощался со всеми и перед уходом сказал Богдане:

— Сквозь щели в ставнях проникает свет, как-нибудь замаскируйтесь, а не то вас оштрафуют.

Богдана поблагодарила патрульного, и он ушел.

— Совсем погасите лампу и откройте дверь, — закричал Андукуптар, — Я задыхаюсь!

Наутро Лука застал Андукуптара на балконе. Богдана чуть свет ушла на швейную фабрику. Андукуптар тяжело дышал. Лука обратил внимание на не здоровую, какую-то странную бледность его лица. У Луки мучительно скжались сердце, и он не смог заставить себя поглядеть другу в глаза. «Наверно, такой цвет лица называют землистым», — подумал он. Ноздри, подбородок и кожа над верхней губой Андукуптара были покрыты сыпью, которой вчера не было, во всяком случае Лука ее не замечал.

ЭМПЗБУРГ
ЗАЩИПОДІЙ



- Как ты спал, Лука?
— Да так...
— Ступай в госпиталь, проведай отца.
— А меня пустят?
— Наверно... Если не пустят, то, во всяком случае, скажут, как он.
— Пойду непременно. После уроков.
— Пойду... пойду, — почему-то повторил Андукапар, уронил голову на левое плечо и с улыбкой пристально поглядел на Луку. Через некоторое время улыбка погасла, и лицом снова завладела едва заметная гримаса боли.— Ты слышал, Изя убежала из дома?

- Изя?
— Оставила записку... Не ищите, пишет, меня...
— Что говорит дядя Ладо?
— Спроси... Вот он стоит во дворе... — Лука выглянул во двор. Дядя Ладо в самом деле стоял под липой. Взгляд Луки невольно скользнул на первый этаж. Коротышка Рубен покуривал, облокотясь на перила. После ночного происшествия Лука был твердо уверен, что Рубен бежал от карающей руки правосудия и теперь сидит, забившись в какую-нибудь щель. Поэтому он никак не ожидал увидеть его здесь и, не поверив собственным глазам, вздрогнул и растерянно поглядел на Андукапара. Может, Богдана ошиблась, может, коротышка Рубен не стрелял в Гоги Джорджадзе?
- Что с тобой, Лука? Коротышку увидел?
— Да... Коротышка Рубен стоит на балконе.
— А что ты думал?
— Не знаю...
— Что-то происходит с нами, Лука, и я не могу понять, что!
— Я пойду, — сказал Лука, — пойду в школу.

Но он сразу понял, что ему очень трудно будет спуститься во двор, когда коротышка Рубен, покуривая, стоит на балконе. Но и здесь он не мог больше оставаться, муки Андукапара заставляли его страдать, и он стремился поскорее покинуть этого человека, чья близость еще вчера или позавчера была ему дороже всего на свете.

— Ступай, Лука, а то опоздаешь, ступай...

Лука нехотя направился к галерее, вынес портфель и замешкался возле лестницы.

— Человек неблагодарен по своей природе... — услышал он голос Андукапара, — неблагодарным он приходит в этот мир... И таким же неблагодарным возвращается в небытие...

Сознание Луки напряглось. Почему-то он подумал, что эти слова были ему очень знакомы и имели к нему прямое отношение. Он попытался вспомнить, откуда он знал эти слова или где услышал их впервые, но зря мучился, никак не мог вспомнить. Сунув портфель под мышку, Лука бегом спустился по лестнице, бегом пересек двор, низко опустив голову, чтобы не видеть коротышку Рубена, но, когда он подошел к липе, его остановил дядя Ладо.

— Как твой отец? — спросил он.
— Не знаю, дядя Ладо, сегодня пойду и все узнаю.
— Что же это такое происходит, люди добрые, так и свихнуться немудрено! — дядя Ладо выглядел каким-то сломленным и разбитым.

Кура за эти два дня настолько поднялась, что волны ее почти достигали двора. Лука только сейчас это заметил. Река несла свои мутные воды, большая и сильная, до краев наполненная собственное русло. От моста до моста разливалось безбрежное пространство движущейся мутной воды.

Дядя Ладо привез свою плоскодонку к липе. В лодке валялось одно весло и шест с железным наконечником. Лодка поднималась и опускалась на волнах, качалась, колебалась, терлась бортом о кирпичную стену.

Лука только сейчас заметил и то, что под липой уже не было скамеек и стола. Дядя Ладо сказал:

- Видно, нынешней зимой кому-то не хватило дров...
Луке очень хотелось узнать, что с Изой, но спрашивать он не решался.
— Вечером заходи ко мне, скажешь, как отец.
— Скажу непременно, дядя Ладо.
— Пусть никто не думает, что этот мир и вправду соломой крыт.
— Не знаю...
— Иди, Лука, иди... опоздаешь...

Лука и сам хорошо знал, что опаздывает, но боялся повернуться: за его спиной, на балконе первого этажа стоял коротышка Рубен. Лука все же повернулся и, опустив голову, сделал несколько шагов. Он даже не взглянул туда, но почему-то понял, что Рубена там уже не было. Однако отсутствие Рубена не

принесло Луке облегчения. Напротив, он ощутил раздражение и весь затрясся. Сердце колотилось с такой силой, словно собиралось выскочить из груди.

«Какие странные глаза у Богданы, — думал Лука по дороге, — она видит ночью так же, как днем. Если бы не Богдана, никто бы, наверно, не узнал, кто стрелял в отца. А может, лучше было, раз отец остался жив! Тогда не хотелось представить себе, что произойдет в их дворе в день выписки отца из госпиталя. Ну, а вдруг Богдана видит ночью не так хорошо, как днем, вдруг она перепутала в темноте, не разобралась? Тем более, что во двор она смотрела с высоты второго этажа, да еще в полнейшей тьме.

Эти мысли вконец расстроили Луку. Теперь он уже не дрожал и сердце больше не билось так сильно. Им овладела тоска, все казалось одинаково скучным и постылым. Он находился словно в тумане и брел сквозь туман, ничего не замечая вокруг и не интересуясь, что вокруг происходит.

У входа в школьное здание он столкнулся с учителем географии, который одновременно был и заведующим учебной частью.

— Джорджадзе, — строго окликнул его завуч, — идем со мной!

Лука покорно последовал за учителем. В другое время сердце у него ушло бы в пятки от такого грозного тона, но сейчас он был настолько отчужден от внешнего мира, что испуг не задел его сознания.

— Джорджадзе, на что похоже твое поведение? До каких пор мы будем терпеть твою распущенность?! — возмущенно начал завуч, едва успев войти в кабинет.

Лука стоял как немой, бессмысленно уставившись в глаза учителю.

— Почему ты опоздал на урок?

Лука и теперь промолчал.

— Ступай сейчас же домой и приведи родителей!

— Я никого не могу привести, — наконец выдавил из себя Лука.

— Что это значит? Как это не можешь привести?

— Отец лежит в госпитале.

— Ну, приведи матер.

— Мать... Я не знаю, где моя мать, она без вести пропала.

— Джорджадзе, ступай сейчас же и приведи кого-нибудь из родственников. У тебя больше всех пропусков в классе. Знай, если не приведешь родителей, я оставлю тебя на второй год! Теперь иди, ступай!

Выйдя из кабинета завуча, Лука пошел по длинному коридору. В коридор уже высыпало ученики, и там стоял веселый гвалт, Лука заметил Маико, заметил и то, что она увидела его. Он думал, что Маико подойдет к нему, но Маико повернулась и побежала по лестнице.

С портфелем под мышкой Лука один шел по улице и думал: хорошо, что меня сегодня выбрали из школы, все равно я не смог бы высидеть на уроках.

Перед своей бывшей школой Лука остановился. Сказал солдату, что здесь лежит его отец и что он хочет его повидать. Солдат спросил фамилию и имя отца и вошел в здание. Через некоторое время он вернулся и сказал:

— Я позвонил дежурному, майора Джорджадзе в нашем госпитале нет.

— Не может быть, — уверял Лука, — его привезли сюда вчера ночью.

Солдат не поленился вернуться в госпиталь, через несколько минут появился опять и повторил то же самое. Лука растерялся, он уже не знал, что делать, как поступить. Может, они ошиблись? Но Лука хорошо помнил, что сказал вчера военный патруль, помнил и слова Андукапара: «Его отвезли в твою бывшую школу». А бывшая школа Луки здесь.

Задумавшись, Лука шел вдоль железной ограды. Вечером приду сюда вместе с Богданой и все выясню, успокаивал он себя.

Дойдя до угла, он вспомнил, как недавно Богдана просила его узнать, существует ли на самом деле Мтвариса. Лука был уверен, что ворота заперты, но, несмотря на это, все же повернулся к сумасшедшему дому: попытка — не пытка.

Его совсем туда не тянуло, он шел так, между прочим, чтобы выполнить долг перед Богданой и Андукапаром. Бредя по неровной улице, он снова думал об отце. Вспомнил нынешнюю ночь, жутковатый треск пальбы, освещенное фонарями залитое потом лицо, искаленное болью. Может, отцу плохо и от меня хотят скрыть, царапнул по сердцу страх, он остановился и оглянулся назад.

Им снова овладела апатия, и он решил вернуться домой, но и домой идти не хотелось. Богданы не будет допоздна, а с Андукапаром сегодня Луке не выдержать, так тяжело смотреть на его страдальческое лицо. Лука продолжил свой путь по кочковатой улочке и подошел к каменной ограде. Ворота, конечно, были закрыты. Лука без всякой надежды толкнул их рукой и изумился: ворота со скрипом отворились.

Не колеблясь, Лука вошел во двор и взглянул на то окно, где когда-то увидел Мтварису. Темное зарешеченное окно было открыто. Лука обвел взглядом двор: ни старого дворника, ни бритоголовых мужчин в серых халатах нигде не было видно. Бассейн был наполнен водой, и в нем отражались покрытые зеленой листвой деревья и безоблачное небо.

Лука прошелся по двору, присел даже на одну из скамеек, потом сунул под мышку портфель и разочарованный направился к выходу.

Подойдя к воротам, он неожиданно услышал знакомый голос, и сердце у него чуть не разорвалось: он и сам не знал, почему его испугал этот голос, услышать который он так мечтал.

— Мальчик, поди сюда на минутку!

Лука повернулся голову. В открытом окне стояла голая Мтвариса, точно как тогда, когда он увидел ее впервые. Подняв над головой руки, она ухватилась ими за железные прутья решетки и смотрела на Луку большими печальными глазами. Но теперь Лука не краснел, как в первый раз, и не отводил глаза в сторону, он даже не развелся, как тогда. Только сердце бешено колотилось то ли от испуга, то ли от неожиданности.

Лука сделал несколько шагов по направлению к окну.

— Расчленили его и его тело раскидали по всей земле... Каждая частица его тела была частицей моего тела, и он был братом моим и супругом моим... На четырнадцать частей его разрезали и разбросали по всей земле, поэтому телу моему, как и Луне, ведомо четырнадцать болей, но я собрала разбросанные куски его тела, и восстал из мертвых брат мой и мой супруг. Восстал он из мертвых, и боли мои утихли, все четырнадцать болей. Ныне же он — брат мой и мой супруг — каждую весну приходит на землю и каждую осень вновь покидает ее... Он и смерть, он и жизнь, жизнь и смерть!.. — сказала Мтвариса и печально улыбнулась. Потом разжала пальцы, скимавшие прутья решетки, и, не опуская рук, повернулась, чтобы уйти.

— Мтвариса! — невольно вырвалось у Луки.

Лука увидел, как вдруг дрогнули у Мтварисы плечи и как медленно порозовело молочно-белое тело. Она быстро обернулась, глаза ее были так же печальны, но теперь она улыбалась смущенно и виновато.

Потом она уронила вниз руки и облокотилась на подоконник.

— Я не Мтвариса, мальчик.

Обнаженное тело обрело свой прежний цвет, с лица сошла виноватая улыбка, только на лбу, словно алмазы, блестели капельки пота.

— Я же сказала тебе, что я не Мтвариса.

Лука вспомнил слова Андукалара: «Вполне возможно, что ее зовут не Мтвариса, она сама придумала себе имя».

— Я собрала по кускам тело брата своего и супруга своего. Потом утихли мои четырнадцать болей, а он — брат мой и супруг мой — стал царем в царстве мертвых. В страданиях обрела я свою душу, и она сияет, как солнце. Я — покровительница всех мучеников, бедняков и страдальцев.

Лука и сейчас почувствовал, что девочка, устремившая на него печальный взор, не смотрела на него. Вернее, ее взгляд не достигал его. Он прерывался там же, перед ней, и рассеивался в воздухе.

Луке больше не хотелось стоять здесь и слушать непонятные речи. Не интересовало его также, какое новое имя она придумает и как еще назовет себя. Для Луки она оставалась Мтварисой. Лука сделал три шага назад.

— Ты куда, мальчик?

Лука остановился.

— Пойди и сообщи нашим, что я здесь! Они, конечно, знают, где я, но ты все же скажи им... Может, они забыли, может, им надо напомнить... Ведь мы все неблагодарные и многое из того, что следовало бы помнить до самой смерти, обычно забываем.

Лука вспомнил сказанные утром слова Андукалара, которые заставили натянутой струной затрепетать его память. Именно в этом дворе беседовали мужчины в серых халатах о неблагодарности. Лука оглядел двор — может, они все еще здесь? Но во дворе никого не было.

— Не задерживайся, мальчик!.. Ступай, мальчик!.. — Мтвариса, словно собираясь танцевать, вскинула вверх руки и, напевая, отвернулась от окна.

Едва Мтвариса исчезла, Лука побежал домой. Он так и не понял, какое значение имело для Андукалара, существовала или нет Мтвариса на самом деле. Почему этот вопрос тревожил его?.. Обрадованный, бежал он домой, надеясь, что Андукалару хоть чуточку полегчает, когда он сообщит ему, что Мтвариса на самом деле существует... Он без передышки пробежал почти все расстояние до самого дома. Тяжело дыша, подбежал к воротам, остановился и перевел дух. Он так устал, что его мутило и кружилась голова. «Чего я бежал,

ну, пришел бы на десять минут позже, какая разница? Входную арку и часть двора он прошел не спеша. Подойдя к липе, снова подумал: «Как странно, сегодня все меня торопили... Я никуда не спешил и все равно торопился...». Потом поднял голову и взглянул на второй этаж, надеясь увидеть Андукарапа. Поднявшись по лестнице первого этажа, он в ужас застыл на месте.

Со второго этажа со страшной скоростью, подскакивая на ступеньках, громыхая, как могучий поток,пущенный в узкое русло, неслось кресло на велосипедных колесах, в котором сидел Андукарап. Андукарап обеими руками вцепился в подлокотники, выкатил глаза, в которых стоял страх, и глядел прямо перед собой. Он молнией пронесся совсем рядом с Лукой, Лука невольно отшатнулся назад и услышал потрясающий душу вопль:

— Ну-у-ка-а!

Этот обреченный вопль был заглушен грохотом и треском. Коляска с разгону врезалась в барьер первого этажа и выбила перила. Та же сила выбила Андукарапа из кресла. Андукарап раскинул руки, словно собирался взлететь, еще раз закричал «Лука-аа!»... и как огромный, тяжелый крест рухнул в реку.

Лука тотчас бросился вниз по лестнице, но споткнулся о портфель, который только что сам уронил, и кувырком покатился по ступенькам, сильно расшибившись. Во дворе он быстро вскочил на ноги подбежал к липе, где должна была быть привязана лодка. Но лодки не оказалось на месте. Да если бы она и была, что мог сделать один Лука?

Андукарап больше не показывался, его навсегда поглотили мутные волны Куры.

— Андукарап утонул!! — крикнул Лука безлюдным балконам, — Андукарап утонул!..

Никто не слышал крика Луки, да и кто мог услышать, когда он сам едва слышал собственный голос.

— Андукарап, Андукарап утонул! — кричал Лука.

Но Лука понял, что сейчас его никто не услышит, потому что громкий рокот Куры поглощал его голос. К нему словно вернулся давно потерянный слух, и он только сейчас услышал, как грозно шумит река.

Внезапно он ощутил, как слабеют у него колени, но все равно направился к дому дяди Ладо, с трудом волоча отяженевые ноги. С величайшим усилием одолел он несколько ступенек и постучал в дверь...

— Дядя Ладо, помогите, дядя Ладо!

Дверь никто не открывал.

— Дядя Ладо, помогите!..

Видно, дяди Ладо не было дома.

Лука снова спустился по лестнице, пошатнулся и схватился за перила, чтоб не упасть. Потом проковылял еще шагов десять и подошел к другой лестнице. Здесь обязательно кто-то должен быть дома. Он знал, что здесь болен ребенок и его не могли оставить одного. Он поставил ногу на ступеньку, но колени больше не подчинялись ему, и он упал. Тогда он пополз на четвереньках... Посмотрел на дверь, потом на окно, и окно, и дверь были занавешены красными тряпками. Лука вскарабкался на две ступеньки выше. Теперь силы окончательно покинули его, он упал, уронив голову на руки. Из глубины комнаты доносилось пение, наверно, пела мать больного ребенка:

Смилуйтесь, господа хвори,
Господа хвори, смилуйтесь...
Господа хвори красивые,
Осыпаны фиалками и розами...

Лука увидел большой, зеленый луг, усеянный цветами. На лугу показалось стадо коз. Белый хорошенъкий козленок отделился от стада, взбрькнулся и побежал вприпрыжку...

Смилуйтесь, господа хвори,
Господа хвори, смилуйтесь...¹

¹ Старинная народная песня-заклинание, которую поют детям, заболевшим краснухой или ветряной оспой.



ВАССЕЖИ

Роман

Партитуру он пошлет директору по почте с надписью: «А я считал вас музыкантом...». Больше ничего не напишет, тот сам поймет.

В конце переулка, в тени склонившегося через забор дерева он разглядел притаившийся «Москвич». Когда он проходил мимо, кто-то окликнул его:

— Эй!

Беко остановился, но оглядываться не стал. Дверца машины хлопнула, и почти тотчас кто-то положил руку ему на плечо:

— Это ты, старик?

Беко обернулся. Перед ним стоял все тот же местный парень, который обещал его вздуть.

— Все ходишь? — спросил он.

— Хожу.

— Нодар! — позвала девушка из машины.

— Погоди! — отмахнулся Нодар и с улыбкой спросил: — Нашел?

— Нашел.

Парень глазами показал на партитуру.

— Это и есть?

— Да. — Беко еще крепче прижал партитуру к груди.

— А говорил — мальчик, труба...

— Нодар! — снова позвала девушка.

— Куда теперь? — спросил Нодар.

— Не знаю...

— Пошли ко мне.

— Нет.

— Почему? — обиделся парень.

Из машины вылезла девушка, обеими руками поправляя волосы. Беко повернулся, собираясь уходить.

— Постой!

— Я спешу.

— Куда?

— Никуда.

Парень сошел с дерева лист, сжал кулак, словно держал стакан, положил сверху лист и ударил с размаху другой рукой: ткац!

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 3.

— Я на машине подвезу, — предложил он.
 — Спасибо.
 — Почему ты не вошел в биллиардную?
 — Не знаю.
 — Что это за книжка?
 — «Абесалом и Этери».
 — Этери мою девушку зовут.
 — На, держи. — Беко всучил ему партитуру и повернулся. — Я пошел.
 — Иди, никто не держит, — надулся парень.
 — Нодар! — сказала девушка.
 — Ну чего тебе? — огрызнулся он.
 Беко был уже далеко.
 — Эй! — крикнул парень, поднимая обеими руками партитуру.
 Беко обернулся:
 — Чего?
 — Будь здоров!
 — И ты тоже!

Выходя из переулка, Беко повернулся налево, потому что увидел шлагбаум. Вдоль железной дороги тянулась тропка, по ней и пошел Беко. Его мучил страх, что никогда больше он не увидит своего дома, никогда не увидит кипарисов «Родника надежды», не увидит осин, молча стоящих за рестораном, седеющих при первом дуновении ветерка. Он истомился в разлуке с ними, как будто целую вечность не был дома.

— Цып-цып-цып, — слышался ему голос матери.

В поле стоял товарный поезд, без паровоза. Дверь одного из вагонов была открыта. Беко влез в вагон. Лунный свет лежал на полу, как ковер. Беко прилег в темном углу. «Цып-цып-цып», — повторил голос. Потом мать подошла к нему и провела по лицу холодной, шершавой рукой. Беко прижался к руке губами.

— Поделись со всеми, — прошептал он, — если хочешь, чтобы...
 — Цып-цып-цып, — звучал в ушах материнский голос.
 — Лимоз кельмин пессо деемарлон эмпозо...
 — Цып-цып-цып...
 — Если хочешь, чтобы...

Поезд неслышно двинулся, словно отплыла лодка, плохо привязанная к причалу...

Нуза был скромной, покладистой и робкой женщиной. У нее была семья на плечах, и это ярмо она тянула, можно считать, в одиночку. Поэтому улыбка редко появлялась на ее обожженном, как черепица, лице. Язык у нее был острый. «Кусается, как крапива», — говорил Александр, который, казалось, только затем и выполнял скучную однообразную работу трестовского экономиста, чтобы теперь сидеть под деревом и склеивать разбитую посуду.

Как только он вышел на пенсию, словно глаза раскрылись и увидел свое настоящее призвание. Некоторые иронически отзываются о его деятельности. Но Александр относит насмешки за счет людской глупости и внимания на них не обращает.

Однажды к нему во двор зашел нищий и попросил позволения отдохнуть. Александр пригласил его в дом, но старик отказался. Он сел на землю у колодца, снял сапоги, развернул желтые, провонявшие потом портянки и два дня со слезами блаженства на глазах почесывали темные, потрескавшиеся как печенный картофель пятки. Воду он пил из черепка, который Нуза ставила для кур.

— Подожди, я стакан вынесу, — огорчился Александр.
 — Не надо, — улыбнулся нищий, — когда-то ведь и этот черепок был кувшином.

Эти слова запали Александру в душу. Он даже занес черепок в дом и бережно хранил на столе, словно на нем была начертана истина... «Все, что ломается, должно быть немедленно восстановлено, иначе не сможет существовать мир. Когда у одного человека рвется рубаха, холодно всему миру», — думал Александр.

Так Александр стал мастером. Сидит и склеивает черепки. «Иные ищут истины, как клад, как славу или благополучие. Они ничего не найдут. Истины мы не видим так же, как собственные глаза, но это не значит, что ее не существует. Истина в нас, а мы ищем ее на стороне. Сколько людей, столько и истин. У многих, правда, она лежит без дела, как одежда в комоде, а хозяин гуляет голышом, как беспечный курортник на пляже. Ну, а если не слава, не

положение и не богатство, что же тогда — эта твоя истина? Терновый венец?
Нет, дорогой, истина — это склеивание разбитого кувшина».

Многие потешаются над работой Александра, не понимают ее — и все
«Грош цена такой истине, которую все понимают», — смеется Александр
про себя.

Нуца тоже считала, что Александр не от мира сего, часто ворчала:
«Встань, делом займись, разве мужское это занятие — черепки собирать?». Однако в глубине души она жалела его и даже гордилась, что он не такой, как все. У Нуцы была добрая душа, но не было времени свою добрую показывать. Это Нуца тоже считала непозволительной роскошью. Иногда, правда, она позволяла себе выпустить на волю часть скопившейся в сердце доброты, чтобы полегчало. Может, она чувствовала, что накопленная, скрытая доброта — та же злоба. Но делала она это экономно, как крестьянин, наработавшийся за неделю, пьет пиво в привокзальном павильоне — одну только кружку.

«Что такое их жизнь? — Нуца приложила ладонь ко рту. — Бесконечное терпение, ожидание. Вот, построим дом, и тогда... Вот вырастет сын, и тогда... Что тогда?». У Нуцы сердце заплосло от боли: она увидела, как под яблоней вместо Александра сидит седой сгорбленный Беко и играет на трубе.

«Одна у него радость, и ту я отравила», — подумала она все с тою же болью. Вспомнила, как вернулся Беко под утро утомленный, разбитый, с каким-то безумным лицом, поднялся по лестнице и лег у дверей комнаты, куда Нуца никого не впускала.

— Как собака заснул на пороге, — застонала Нуца. — Сынок, сыночек!

Она поднялась по лестнице. Ноги ныли, приходилось упираться руками в колени, чтобы взобраться на следующую ступеньку. Она достала из кармана передника тяжелую связку ключей, отыскала ключ от залы и сунула в дверную скважину.

В комнате было темно.

«Зачем ты прячешь столько добра? Для кого?» — кричал в ней кто-то, потому что этот кто-то уже знал, что Беко не вернется домой.

Она встала на суночки и, приблизившись к окну, раскрыла ставни. «Принесу сейчас топор и все порублю». На стене она заметила портрет Беко. Из бамбуковой рамки смотрел большеглазый худенький мальчик. Нет, ее Беко был здесь, дома. Она обрадовалась, хотя радоваться было нечему. Так радуется человек, который потерял все имущество и вдруг нашел в кармане рубль. Нуца осторожно прикрыла ставни, скользя на суночках, подошла к дверям и некоторое время стояла на пороге, вцепившись в ручку обеими руками, словно не хотела уходить, а кто-то ее выталкивал.

Бетвь, выросшую из ее сердца, сломал ветер, ветка еще держалась, и сейчас главное — чтобы выдюжило сердце, стерпело, тогда можно не бояться за ветку.

Она спускалась во двор, когда у ворот заметила Зину.

— Извините, пожалуйста, — начала Зина несмело. Труднее всего ей было прийти сюда. — Дато случайно не у вас?

Нуца вся напряглась. Этую женщину она ненавидела, но ее голос был такой знакомый, что она подумала: «Не себя ли я слышу?». Ее голос угодил в ту самую точку, где дремала доброта. И еще она поняла, и это было уже совсем неожиданно, и не только неожиданно, но просто невероятно, что за последнее время эта чужая женщина стала для нее близкой и родной. Ей казалось, что при первой же встрече она оттаскает ее за волосы и отругает. Но ее голос пролил в душу Нуцы странное тепло, как будто говорил: «Ты — мать, а я — твое дитя».

«Она тоже ищет сына», — подумала Нуца, и ей захотелось протянуть руку через забор и погладить Зину по растрепавшимся волосам.

— Нет! — жестко ответила она. — Здесь его нет.

Зина, видимо, хотела еще о чем-то спросить, но передумала и сказала только: «Извините», — повернулась и ушла.

Нуца долго смотрела ей вслед.

«Что-то неладно», — думала она, и сердце подсказывало ей, что надо догнать Зину и расспросить, но она сдержалась и не двинулась с места.

Зина шла и все твердила про себя:

— Беко тоже нет дома... Беко тоже нет дома.

Как будто Нуца именно так ей и сказала: Беко тоже нет дома. «Дату на жив! — молнией сверкнуло в мозгу. — Жив!».

Она уже успела поверить, что с Дато произошло что-то страшное: или под машину попал, или утонул. Она вспомнила, как в прошлом году море

выбросило утопленника — мальчика лет двенадцати. Она даже услышала ужасный крик матери, тогда этот крик для нее был только голосом убитой горем женщины, конечно, ужасным, но все-таки чужим, а сейчас ей ~~назалось~~^{запомнилось}, что кричала она сама, а не та несчастная.

«Если Датуна не найдется, я утоплюсь».

Жизнь ей казалась мрачной бессмыслицей.

— Нет, нет, — отгоняла она от себя жуткие видения, но все равно в ее воображении один кошмар сменялся другим. Ведь ребенка подстерегают на каждом шагу тысячи ловушек, и жертвой всех засад становился Датуна.

Внезапно она успокоилась и даже почувствовала благодарность к Беко за то, что он взял с собой Датуну. Конечно, Беко забрал его с собой, сказала же Нуза, что Беко нет дома. Беко взял Датуну за руку и уберег от всех опасностей.

Во дворе у писателя толпился народ, приятели Беко тоже были здесь. Зина очень трудно было произнести вслух имя Беко, но она все-таки спросила Ираклия, не видел ли он Беко. В ожидании ответа она вся сжалась, думала, сейчас он расхохочется ей в лицо. Но ничего подобного не случилось, Ираклий спокойно ответил, что Беко сегодня не появлялся, и Зина словно только затем и пришла, чтобы узнать, что делается во дворе у писателя, спросила:

— Что здесь происходит?

— Бассейн засыпаем, — радостно сообщили ей ребятишки.

— Я видела Беко, — сказала Лили: — Утром он был на пляже.

— А сына моего не видели? — несмело спросила Зина, потому что боялась ответа. Страх ее оправдался.

— Нет, — сказала Лили.

Исчезла последняя надежда. Зина плелась, ничего перед собой не видя. «Надо увезти отсюда Дато», — это была единственная мысль, которая осталась у нее в голове. Она понимала, что именно теперь об отъезде не может быть речи, что ей надо здесь оставаться и здесь умереть, но упорно твердила свое: «Надо увезти... Надо увезти...».

Она была уже довольно далеко от писательского дома, когда ее догнала Лили. Лили запыхалась и с трудом переводила дыхание. У Зины радостно встрепенулось сердце: «Жив!».

— Ой, устала... Я вспомнила... Он был вместе с Беко... На пляже...

Зина чуть не села на дорогу, заставила себя улыбнуться и пробормотала:

— Спасибо... Большое вам спасибо...

У райкома она села на скамейку и зарыдала. От слез полегчало, она словно пробудилась после кошмарного сна.

— Надо уезжать отсюда! — громко проговорила она.

— Что вы сказали? — спросил чей-то голос.

Зина подняла голову, перед ней стоял Спиноза.

— Я уеду отсюда, — невольно повторила она, потому что все еще была там, наедине со своими мыслями.

Опомнившись, она резко спросила:

— Что вам надо?

Спиноза упал на колени, сложил на груди руки и взвыл:

— Казни или помилуй!

Зина вскочила:

— Что с вами? — Растерянно огляделась по сторонам: — Господи!

Спиноза твердил свое:

— Казни или помилуй! Казни или помилуй!

— Убирайтесь! — крикнула Зина и побежала. Она слышала, как Спиноза кричал что-то ей вслед, но не понимала что.

«Только этого мне недоставало, — думала она, — только этого недоставало!»

Она бежала, и слезы текли по ее щекам. Это были слезы радости, потому что Дато был жив. Поступок Спинозы не удивил ее и не обидел. Она давно считала его ненормальным и не стала бы ему грубить, если бы он не хлопнулся перед ней на колени. «Только этого недоставало» — относилось к тому, что кто-то мог увидеть, как Спиноза на коленях объяснялся ей в любви. Опять пойдут сплетни, хотя и так, наверно, о ней в этом городе известно все!

Зина развеселилась: «Женихов у меня хоть отбавляй, не так уж плохи мои дела, пусть Теймураз не воображает, что я без него пропаду!». Духу однажды прислал ей цветы через официанта, и писатель в долгую не остался. Когда у них в гостях был, сказал, как бы между прочим, угощаясь вареньем: «Я потому остался одиноким, что в свое время не встретил такую милую и образованную женщину, как вы». «За это и ненавидят меня местные



барышни-кривляки, что у меня женихов, как у Пенелопы». Зина сосчитала про себя: «Духу — раз, известный писатель — это вам два, сумасшедший Спиноза — три, четыре... четыре... Да учитель грузинского языка, который ^{как} увидит меня, заливается краской. Пятый...». Зина заколебалась, ей даже в уме не хотелось произносить имя пятого.

Придя домой, она вынесла из кладовки чемодан и начала складывать в него вещи — свои и Датуны, как часто делала это в мечтах. Она так увлеклась этим занятием, что принялась напевать.

В комнату вошел Нико.

- Слышала новость? — Лицо у него сияло.
- Да, его Беко забрал.
- Это верно?
- Их вместе видели.
- Слава тебе, господи! Значит, вот-вот появится.
- Да, вот-вот появится.
- Зачем тебе этот чемодан?
- Мы с Датуной уезжаем.
- Куда?
- В Тбилиси.

Потом они сидели в полутемной комната, и Зина говорила:

— Разве мы с Теймуразом муж и жена? Разве не постыдно мое положение? Пора нам всем исправить эту ошибку. Хотя исправлять ее должна я одна. Я больше так не могу. До сих пор я ждала, честно говоря, сама не хотела уходить, все цеплялась за это детское чувство. Нет, оно принесло мне не одно только горе, когда-то я была счастливой, правда, одно мгновение. Знаете, как трудно жить воспоминаниями? Кроме того, я — мать, и я чувствую, что меня ждет новая беда. Вот вы любите Датуну, балуете его. Конечно, никто за это не может упрекнуть, так и должно быть, но своим поведением вы отдаляете от меня сына, хотя я уверена, вы это делаете бессознательно. И тем не менее это так. Настанет день, когда я останусь совсем одна. Совсем, совсем, совсем одна, поэтому мне лучше уйти, вовремя убраться отсюда. Мое решение твердо и разумно. Мой уход никому не причинит боли, кроме... Знаю, что тяжелее всех будем вам. Вы оставетесь один. Но что делать? Не могу же я оставить вам Датуну. Скажу больше, я не люблю Теймураза, а раз не люблю, ради чего я должна страдать и мучить его?

Она замолчала и вдруг вспомнила те слова, что кричал ей вслед Спиноза. Теперь она слышала их очень ясно. «Я убью Беко, — кричал он, — отомщу за твои слезы!» Зина улыбнулась.

Нико удивленно смотрел на нее: по правилам, монолог Зины кончался не здесь. Так же как и Зина, он давно знал его наизусть, хотя ни один из них до сих пор не произносил этих слов вслух. Но в мыслях, когда он представлял себе этот день, невестка говорила именно так.

Зина нахмурилась и продолжала:

— Очень часто мы сами связываем себя по рукам и ногам и живем только напоказ. Как поживаете? Хорошо, очень хорошо! А на самом деле — задыхаемся! А я смотрю в зеркало и вижу совсем другую женщину, словно загримированная актриса. Эта минутная иллюзия порою оказывается сильнее правды, но в конце концов — это иллюзия, и ничего больше! А я хочу, пока жива, еще хотя бы раз увидеть свое настоящее лицо.

Нико молчал и стоял как вкопанный. Он и тогда не проронил ни слова, когда Духу привез ребенка и когда они уже собирались уезжать и Датуна подошел прощаться. Он вызвал по телефону такси, проводил их до машины и, пока машина не тронулась, прижал к груди детскую ручонку.

— Зачем мне это ружье, зачем я его взял, для чего? Ну-ка, вспомним! Ну-ка, хорошенъко подумаем... Нет, не помню! — говорил Спиноза, вышагивая посреди улицы.

Затылок у него горел, он то и дело проводил по нему рукой, как будто его ударили чем-то тяжелым. «Что я такого сделал? — думал он. — Чем не угодил?»

— Ничего не сделал, — пропел он, прислушиваясь к своему голосу. Удивился: голос раздавался издалека, как будто пел кто-то другой, невидимый.

— Ничего! — повторил он и, прикусив язык, огляделся: никого. — Так мне и надо, — сказал он, но тотчас крикнул: — Почему, люди, за что?!

Он был убежден, что с ним обошлись несправедливо, отвергли, отшвырнули. За что? Только за то, что взелейянную украдкой любовь — это слово исторгало слезы из его глаз, — как младенца положил на колени женщине, которую почитал за ангела. Она и есть ангел! Даже буйвол мычанием выра-

жает свою сокровенную боль, и что плохого в том, если он не сдержался? А этот ангел так завидал, будто мышь по ее ноге прошигнула. Спиноза ведь ни о чем не просил (он сам уже называл себя Спинозой, считая, что для этой жизни, к которой он уже готов, старое имя Бондо не подойдет), сказал только: «Казни или помилуй!». Эти слова он не раз кричал в стену, но стена — одно, а женщина, которой предназначались эти слова, пусть даже более глухая, чем стена, — совсем другое. Наверно, он не сумел ей объяснить, чего хотел. Какой срам! Может, она совсем другое подумала, а Спиноза просил у нее только разрешения, права на жизнь. Если бы она сказала, что выслушала его и поняла, он был бы вполне удовлетворен. Он бы отвел женщине место рядом с безродным младенцем в уголке своего сердца, прекрасном, как райские кущи. Младенец этот ни молока не попросит, ни колыбельной, будет спокоен и счастлив. И Спиноза успокоится, переведет дух, никуда отсюда не уедет.

«Зачем мне это ружье? Для чего я его взял?»

Нет, Спиноза человека убить не может. Он еще не сошел с ума, как это воображают некоторые...

«Да, но ружье... зачем мне ружье?»

Спиноза заметил еще одно странное обстоятельство: он все видел яснее и четче, чем раньше, чем несколько минут назад. Так ясно, что глазам было больно. Предметы, например, передвигались. Дерево несколько раз перебегало ему дорогу, прежде чем вернуться на свое место. Ему хотелось схватить кого-нибудь за руку и сказать: «Смотри! Смотри, что делается!». Но он не смел. Ему казалось, что он никого в этом городе не знает. А слух обострился до предела. Он слышал, как гудят провода, как журчит вода в канаве — не здесь, а далеко, в самом центре города, как потрескивает огонь на кухне ресторана, как поскрипывает перо писателя по бумаге. Все это он слышал так явственно, что даже видел змеей извивающееся тело электричества, мутную, подернутую ряской воду, яростные языки пламени, выпачканные чернилами пальцы и еще многое чего, что скрывалось от его глаз и было доступно лишь слуху. Он видел их вместе, одновременно, бесчисленные предметы и людей, перемешанных, растворенных друг в друге, но в то же время сохраняющих свою слепящую обособленность.

Спиноза побежал и бежал долго, пока не свалился на поляне, у края леса, под сосной, зажмурив глаза и заткнув пальцами уши. Так он лежал, пока в нем не установилась абсолютная тишина. Тишина эта походила на сон, если только можно спать с бодрствующим сознанием, все время помнить, что спишь. Тишина стояла в его теле, как вода в колодце.

Он лег навзничь и подложил руки под голову. Глаз открывать он пока не смел, боялся опять увидеть весь мир целиком. Потом испугался, что вообще ничего не увидит, так как считал, что вместе с тишиной придет и мрак. Он робко приоткрыл один глаз и тотчас прикрыл его рукой, даже вскрикнул от боли — как будто в зрачок угодил камень. Прошло немало времени, прежде чем он снова поднял веки: к небу приклеилось прозрачное облако, похожее на одуванчик, больше ничего не было видно и ничего не было слышно. Впрочем, нет, — стrectокат кузничек, и этот стrectок такой печально наполнил сердце Спинозы, что он застонал: «О-о, мама!». И сразу увидел женщину, которая, согнувшись, подметала пол. Пылинки радужно переливались в потоке солнечных лучей, пробравшихся сквозь дверную щель в темный коридор. Шуршал веник, и шаркали по полу шлепанцы, как будто лягушка прыгала по асфальту. Спиноза кинулся в ноги женщине, она двумя пальцами взяла его за шиворот, как котенка, и посадила в угол. Теперь в тишине, которая затаялась в его теле, влилась горячая волна и замутила ее, заговорила женским голосом: «Лучше бы ты не родился на свет, сыночек». У Спинозы слезы навернулись на глаза.

— Мама, — прошептал он, — мамочка!

«Я схожу с ума», — подумал он.

Горечь, скопившаяся за долгие годы, вышла не горлом, а подступила к глазам, прочистила забитые, ржавые щели, потоком вынесла наружу всю гниль и дала дорогу свету. Только этого и хотел Спиноза, когда сказал Зине: «Казни или помилуй!». А она так испугалась (Спиноза улыбнулся), словно он собирался ее убить.

— Спасибо, — прошептал он. — Спасибо...

Вот он и разговаривать умеет, а они его за буйвола принимали. Нет уж, простите! Он встал на четвереньки, замычал и даже крутанул рогами. Засмеялся:

— Нет уж, простите!

Он отряхнул брюки и огляделся по сторонам:

— Ты только посмотри, как прекрасен мир! Здорово, кашка, как поживаешь, а ты, выон, крикни: ку-ку! Вот и куриная слепота, я тебя возьму с собой, давай-ка отломим ветку у бузины и шиловника, ух колючий какой, недаром тебя чертовой нагайкой зовут. Не забыть бы про кипарис и самшит! Кипарис ~~изызбушко~~^{изызбушко} вают божьим деревом, а на самом деле божье дерево — самшит. И после ~~этого~~^{этого} ~~принципа~~^{принципа} люди еще считают Спинозу сумасшедшим? Ау, молочай, вот ты где? Дай мне молочка попить, спасибо, не сейчас, после. Сорвем и мяту, и чебрец, и тмин. Что, богородицына ручка, не пойдешь с нами? Идем, милая, ноги у тебя долгие. А вот и дурман. Ага, приветствуя тебя, Петров крест! А это кто? Кого я вижу? Это ты, терн? Идем с нами, ты тоже пригодишься, не бойся! От осины тоже отломим веточку, где Христос, там и Иуда. Так-то, господа! Это не мной придумано. Эй, лавр, дорогой, поцеловать тебя или нет? Ой, купава, как ты хороша, девушка! Верба и просвирна, лебеда и ива, — пропел Спиноза, — несус охапку, охапку... Ох, папоротник! Чуть не забыл!

Он сел на землю и погладил листья:

— Папоротник, мой хороший...

Словно нашел заблудившегося в лесу брата.

Листьев, веток и трав собралось столько, что они не умелись в карманах и за пазухой. Спиноза снял жилет и рубаху, расстелил на земле, сверху положил охапку зелени, связал в узел и собрался уходить, когда заметил в траве ружье. «Зачем мне все-таки ружье?» — опять удивился он, но ружье забрал. Ему казалось, что он оставил кого-то под деревом.

Так Спиноза появился в городе: голый по пояс, с ружьем в одной руке, с узлом — в другой. Прохожие шарахались от него, как от поливальной машины.

А Спиноза вышагивал по улице, раскланиваясь направо и налево:

— Здравствуйте, уважаемый Вано, здравствуйте, любезная Нино, здравствуйте, почтенный Эквтиме, здравствуйте, шалуны Тамуния и Кетино, здравствуйте, драгоценный Бенедикте!

Оказывается, он знал всех по именам. Это открытие наполняло его радостью. Мозг его работал с веселым тиканием, как часы. Хотелось, чтобы все увидели, почувствовали, что он — человек. Он знал, что до сих пор вел себя не совсем правильно. Не осуждайте меня, люди добрые, я не знал, как мне следует поступать, хотел сказать Спиноза, но, расчувствовавшись, не смог проинстести ни слова.

— Спиноза! — окликнули его парикмахеры, сидевшие перед парикмахерской. — Здорово, Спиноза!

Не знаю, откуда они узнали, что на прозвище свое он больше не обижается, но разве можно скрыть что-нибудь от парикмахеров!

Спиноза вежливо им кивнул.

— Может, заглянешь к нам? — снова окликнули его парикмахеры.

Спиноза остановился.

— Давай заходи! — подбадривали парикмахеры.

Спиноза провел рукой по бороде, которая падала на грудь, и улыбнулся жалкой, растерянной улыбкой, словно не предполагал у себя такой бороды, словно она выросла во сне, за одну ночь. Спиноза нерешительно вошел в парикмахерскую. Парикмахеры последовали за ним. Их было двое, и каждый хотел собственоручно обрить Спинозу. Такой случай упускать было нельзя! Обривший Спинозу мог прославиться на весь город. Они кинули жребий.

Спиноза терпеливо ждал. Потом он сел в кресло, устроил ружье между ног, узел положил рядом с креслом на пол и уставился на свое отражение в зеркале. Так обычно смотрит в фотообъектив послушный клиент.

— Смотри, чтоб твое ружье не пальнуло! — предупредил парикмахер.

— Не бойся, — ответил Спиноза, провел рукой по волосам и бороде и сказал: — Наголо!

— Наголо? — удивился парикмахер.

— Наголо!

— И голову?

— И голову тоже.

— Ты слышал — наголо? — Парикмахер повернулся к товарищу, в это время подкрадывавшемуся к мухе с ремнем, о который правят бритву наготове. Рука у того так и застыла в воздухе, он медленно повернул голову и, как был скрюченный, так и подошел к Спинозе и впился глазами в зеркало, словно приказ брить наголо исходил от изображения, а не от того, кто сидел перед зеркалом.

— Наголо? — прохрипел он наконец.

— Наголо! — подтвердил Спиноза.

Тогда второй парикмахер вышел за дверь и оповестил зевак, тотнившихся на улице:

— Наголо!

— Наголо? — выдохнула толпа.

Пока мастер кружил над ним, как пчела над цветком, Спиноза думал о том, зачем все-таки ему понадобилось ружье. Кое-как припомнив, для чего он захватил из дома ружье. Спиноза успокоился. Безумный восторг, владевший до сих пор всем его существом, прошел. Тиканье в мозгу прекратилось.

«Что это со мной? — думал Спиноза. — Как могло получиться, что я как мальчишка разошелся, расшалился и начал в любовь играть? Или с чего я на Беко взъелся? Беко — самый лучший парень в городе».

Потом он вспомнил, как упал перед Зиной на колени: «Неужели, неужели это был я?!». Что же все-таки приключилось с ним час назад? Он чуть и впрямь не свихнулся. Вот тебе и любовь, горько усмехнулся Спиноза. Знчит, не всем следует совать голову в этот костер. Да и не допустят всех. Ему еще повезло, удалось выхватить из огня маленькую искорку, он будет прятать ее в ладонях, раздувать своим дыханием, и она будет жить. У других даже такой малости нет. Им остается сидеть за столом и писать на листке имя одной женщины. Испишет лист, разорвет, бросит в мусорную корзину. Потом Спиноза выносит корзину на свалку. И так будет всегда, до глубокой старости. Он будет сидеть у стола, укрывшись пледом, но Спинозы не будет рядом, пусть другой выбрасывает эти бумажки, изорванные на клочки, никчемные, как пустые лотерейные билеты. Пусть он другого гладит по голове, как охотничью собаку, прилегшую у ног. Спиноза не нуждается в жалости, он смог высказать вслух, выкрикнуть то, что думал, что таил на сердце, что чувствовал.

Как только парикмахер развязал простыню, которой был обмотан обритый наголо Спиноза, тот невольно прикрыл руками грудь, словно только сейчас заметил свою наготу. Бирочем, он и в самом деле не помнил, как и когда разделялся. Некоторое время он сидел соображая потом потянулся к своему узлу и высыпал на пол все, что в нем было: траву, цветы, ветки и камешки.

«Что это? Зачем я все это притащил? Что люди подумают? Стыд-то какой!» Спиноза не помнил названия ни одной травки, ни одного цветка.

— Ты что делаешь? — завопил парикмахер.

Но Спиноза не одарил его вниманием, он вытряхнул как следует жилет и рубашку, оделся и встал.

— Денег у меня нет, — сказал он.

— Ничего, останется за тобой, — ответил парикмахер. — Только вот намусорил ты у нас.

— Дайте веник, — сказал Спиноза.

— Нет, нет, мы сами подметем, — дружно возразили оба, как видно, напуганные изменившимся лицом и голосом Спинозы.

Спиноза вышел из парикмахерской и пошел по улице.

Через некоторое время в парикмахерскую, откуда не доносилось ни звука, заглянул один из зевак: разинув рты, парикмахеры таращились друг на друга, а пол был завален травой и листьями.

— В чем дело? — осведомился любопытный. — Вы Спинозу остригли или ботанический сад?

Войдя во двор, Спиноза остановился. Писатель стоял на веранде. Его, конечно, изумило преображение Спинозы, но виду он не подал.

— Поднимайся, Бондо, что стоишь?

— Я вам очень благодарен, — отозвался Спиноза.

— За что же?

— За то, что вы приютили меня...

— Да брось...

— Жизнь кончена...

— Что ты говоришь, Бондо? Ты свихнулся, что ли?! — рассердился писатель.

— Кончена жизнь.

Писатель хотел возразить, но не успел. Спиноза повернулся и ушел. Писатель долго стоял на веранде, потом вошел в комнату и сел за стол. «Какая муха его укусила? — думал он. — Мне казалось, со мной другой человек разговаривает, другой человек! Может, за ум взялся? За ум, говоришь, взялся? А зачем тогда ружье? Как бы не натворил он беды!»

Разумная речь Спинозы насторожила писателя. Глупость и безумие беззубы, а умкусается. Не натворил бы он беды!

Писатель заметил, что рука его лежит на телефонной трубке. Несколько часов он просидел, почти не двигаясь и не снимая руки с аппарата. И только

ЭМПЕДОЛ
ЭПОДОЛЮДО

потом, когда он уже переговорил с начальником милиции, когда положил трубу на рычаг, когда откинулся в кресле и устремил глаза в потолок, почувствовал, что плачет...

— Вот тебе и слеза Диогена! — проговорил он вслух.

Спиноза долго бродил по городу и не заметил, как стемнело. Потом он увидел сполохи огня и пошел туда, где алел пожар. Горел «Родник надежды», там собирались все жители города. Спиноза пробился сквозь толпу и добрался до лестницы.

— Ты-то куда лезешь, чокнутый? — крикнули из толпы.

Спиноза молча повернулся назад.

После долгих блужданий он очутился на берегу. Схватил ружье за ствол и засинул его в море. Потом растянулся среди перевернутых вверх дном лодок и почти тотчас уснул.

И вот какой сон ему приснился:

На парковой танцплощадке стоял космический корабль. Он был похож на огромный волчок, и его блестящая поверхность отражала свет фонарей. Вдруг в корабле образовалось отверстие, оттуда выступила лестница, и по ней кто-то спустился вниз. Коснувшись ногами земли, пришелец легко подпрыгнул и пошел по аллее. Он был сухощавый и приземистый, глаза у него были круглые, вылезающие из орбит. Он не шел, а скакал, как кузнечик, едва касаясь земли носками.

Тут появился Спиноза.

— Где ты пропал?! — кинулся ему навстречу пришелец. — Мы тебя ждем не дождемся.

— А мы правда полетим? — сказал Спиноза.

— Ты настоящий Фома неверующий, — упрекнул пришелец, — давай быстрее, а то уже рассвело.

Они вскарабкались по лестнице, подняли ее за собой, дверь закрылась, и корабль медленно двинулся с места, бесшумно набирая высоту. Поравнявшись с верхушками кипарисов, он, рассыпая искры, скрылся из глаз.

— Вставай, приехали! — кто-то пнул Спинозу ногой.

Он открыл глаза, но не сразу пришел в себя. Потом тот, кто разбудил его, чиркнул спичкой и закурил. По очкам Спиноза узнал заместителя начальника милиции.

Вечером в ресторане собралась уйма народа. Кроме туристов и постоянных клиентов из местного населения, здесь была вся труппа лилитотов, цирк давал банкет в честь окончания гастролей. Духу слизидно прохаживался между столиками, заложив руки за спину. Он себя чувствовал героем — ведь это он нашел ребенка! — и вел себя соответственно. Если раньше он не отказывался пропустить с клиентами стаканчик-другой, то теперь вежливо отклонял многочисленные приглашения. Духу увлекся своей новой ролью и держался так, словно вся публика собралась исключительно ради него. Несколько раз он подходил к оркестрантам:

— Беко не приходил? — спрашивал.

— Не появлялся, — отвечали ему.

— Поглядите только на этого шалопая, — с улыбкой покачивал головой Духу.

Доброе дело, пусть даже совершенно невольно, настраивает человека на миролюбивый лад и направляет его к новым благодеяниям.

«Куда подевался мальчишка?» — думал встревоженный Духу. И эта тревога, прежде не ведомая ему, приятно щекотала нервы. Главное, он сам себе ужасно нравился.

Играл оркестр.

Пела Лили.

Неожиданно Лили увидела свою мать.

Сначала она почувствовала чей-то упорный взгляд, оглянулась и встретилась с горящими глазами четырнадцати-пятнадцатилетнего подростка.

«Молодец, Ромео!» — подумала Лили и тут увидела свою мать, которая сидела за тем же столиком, рядом с подростком. Кроме них, за столом сидел седой представительный мужчина и длинноволосый мальчик, почти ребенок.

Мать разрезала мясо на своей тарелке и что-то говорила. Она скорее походила на старшую сестру этих ребят, чем на мачеху. Мужчина встал из-за стола и что-то сказал. Мальчик радостно захлопал в ладоши. Мужчина вышел из ресторана. Лили видела в окно, как он подошел к легковой машине, открыл дверцу, достал из машины какой-то пакет. Потом снова запер дверцу ключом и направился к ресторану. Остановился, словно что-то забыл, вернулся к машине, подергал дверцу, проверяя, закрыта ли она, пнул переднее колесо ногой, нагнулся, заглянул под машину и снова направился к ресторану. Подойдя к столику, он

достал из пакета инжир и аккуратно выложил на тарелку. Выкладывал осторожно, как только что вылупившихся цыплят. Жена улыбнулась ему и поправила рукой прическу. Мужчина разгладил пакет, сложил его и спрятал в карман ~~под~~^{под} жака. Старший мальчик опять посмотрел на Лили, и вслед за ним ~~довернулась~~^{довернулась} к ней мать. Глаза у нее расширились, улыбка застыла на лице. Они смотрели друг на друга, пока Лили не кончила песню. Потом Лили спустилась с эстрады и пошла к выходу. Она чувствовала, что мать смотрит ей вслед.

Лили давно ее не видела, но не волновалась. Минутную радость загасил гнев: ишь, как сладко воркует! Спустя столько времени увидеть свою мать беспечной и смеющейся — было неожиданностью. Мысленно она все время слышала рыдающий голос матери: «Прости меня, прости!». И представьте себе, несчастную, измученную угрызениями совести мать она жалела. А эта женщина, в которой не было и следа грусти и раскаяния, которая уверенным спокойными движениями распределяла мясо и фрукты, была чужой.

У Лили сердце подступило к самому горлу: «Она не помнит обо мне».

Лили стояла в коридоре. Она знала, что мать непременно выйдет и отыщет ее. И в самом деле, очень скоро она увидела мать, которая вышла в коридор и оглядывалась по сторонам.

Лили вошла в туалет, она чувствовала, что матери не очень хочется показываться сейчас с ней вместе.

— Мы остановились поужинать по дороге в Гагра, — сказала мать.

— Курить будешь? — спросила Лили, протягивая пачку сигарет.

— Ты похудела. — Мать достала из пачки сигарету, сразу переломила ее пополам, но не выбросила, а продолжала держать в руке.

— Нравится, как я пою? — спросила Лили, затягивая обратно в пачку сигарету, которую собралась закурить. Ей вдруг показалось неудобным курить в присутствии матери.

— Я не знала, что ты здесь, — сказала мать.

«Сейчас заплачет», — подумала Лили.

Она отвернулась и посмотрела в окно. Чувствовала, что еще немного, и она не выдержит, кинется матери на грудь, будет целовать ей руки, лицо, шею, зачричит так, что задрожит земля: «Не уходи, не уходи!».

— Ты очень красивая! — проговорила она совсем тихо.

Мать все же рассыпалась, обрадовалась комплименту, улыбнулась:

— Ни в одно платье не влезаю!

— Тебе идет.

Лили обернулась, мать рылась в кошельке.

— Нет! — крикнула Лили и добавила тише: — Мне не нужны деньги...

— Возьми!

— Мне платят за пение! — сказала Лили и запела.

Вокруг них стали собираться женщины.

— Бесстыдница! — прошептала мать и убежала.

Ночью, когда ресторан закрылся, Лили вышла на улицу и остановилась. На-blickодала, как лилипуты садятся в автобус, отправляющийся в Сухуми.

Потом она увидела Ираклия, сидящего на заборе. Рядом с ним лежала дорожная сумка. Ираклий соскочил на землю.

— Я тебя ждал...

— Не мог позвать?

— Я уезжаю.

— Куда ты едешь?

— Отец все уладил. Я сговорился с лилипутами, они меня подбросят до Сухуми, оттуда на поезд — и в Тбилиси. Там пробуду день-два, не больше, и прямо в Батуми! Не помнишь? Я тебе уже говорил... — Ираклий засмеялся. — В общем, лилипуты меня ждут.

— Иди!

— Лили...

— Очень хорошо! — сказала Лили.

Они замолчали.

— Хочешь меня поцеловать? — спросила она.

— Нет...

— И я не хочу.

Он что-то собирался сказать.

— Иди, я сказала! — негромко проговорила она.

Поздно ночью, примерно в двенадцать часов, к воротам «Родника надежды» подъехала «Волга». Пожара еще не было, и дети спокойно спали. Из машины вышли муж с женой, которые накануне взяли из детского дома ребенка, удочерили.

Мужчина крепко держал девочку за руку, она сопротивлялась, пыталась вырваться.

— Я тебе покажу! — кричал мужчина. — Хулиганка!
— А если никого нет? — спрашивала жена. — Кому мы ее сдадим?
— Сдадим!
— Уже поздно.
— Посажу на крыльцо, и пусть сидит.
— Надо было мальчика брать.
— Ты сама заладила: девочку-девочку. Вот тебе твоя девочка!
— Это не девочка, а сатана!

Разговаривая, они подошли к лестнице. Навстречу им спускалась заведующая. Она нередко засиживалась здесь допоздна.

— Уважаемая! — издалека крикнул мужчина. — Мы ребенка привезли! Заведующая остановилась и не отвечала, пока супруги не подошли совсем близко.

— Вы меня напугали, — сказала она.
— Уважаемая, мы хотим вернуть ребенка, — сказал мужчина.
— Пройдемте в кабинет, — заведующая прошла вперед.
— В чем дело? — спросила она, садясь за свой стол. — Я вас слушаю.
— Она укусила меня за нос!
— А меня называла обезьянкой! — наперебой заговорили супруги.
— Дальше? — спросила заведующая.

Это была женщина средних лет, худощавая, с коротко остриженными седыми волосами, придававшими ей неожиданно юный вид.

— Дальше? — с недоуменной улыбкой развел руками мужчина. — Вам что, этого недостаточно? Два раза она чуть не сбежала, я еле поймал. Супругу мою укусила за нос. Покажи, Мегги!

Мегги подошла к заведующей:

— Вот, смотрите!

— Не заметно, — сказала заведующая.

— Как это? Значит, она должна была всю меня изуродовать, чтобы было заметно?

— Садитесь, — заведующая указала на стул.

Мегги села.

— Возмутительно!

— Чего вы теперь добиваетесь?

— Мы хотели отвести ее в милицию.

— В милицию? — заведующая посмотрела на девочку, стоявшую в углу.

— Они меня называли Цисией, — сказала девочка.

— Да-да, в милицию, но я счел себя обязанным вернуть ребенка вам...

— Я не Цисия. — Девочка спрятала руки за спину и опустила голову.

— Разве это плохое имя? — передернула плечами Мегги. — Может, оно вам не нравится?

— Девочку зовут Като, — сказала заведующая.

— Позвольте мне называть моего ребенка, как мне нравится! — Мегги достала из сумки платочек и приложила к переносице.

— Мы уже до Кутаиси доехали, — сказал мужчина. — Думаете, это легко?!

— Конечно, нет, — ответила заведующая.

Ослепев, мужчина продолжал:

— Сначала чуть от лимонада не лопнула, потом на мороженое накинулась...

— Новое платье выпачкала, — вставила Мегги.

— Потом укусила мою супругу.

Мегги зарыдала.

— У вас не найдется сигареты? — спросил мужчина у заведующей.

— Пожалуйста. — Она достала из ящика пачку сигарет. — Только осторожней, дом деревянный и очень старый...

— Десять лет не курил. — Мужчина посмотрел на девочку, она тотчас показала ему язык. — Вот видите! — закричал мужчина.

— В чем дело? — спросила заведующая.

— Она высунула язык!

— Я не заметила.

— Так-так, покрывайте их, покрывайте! Теперь я понимаю, почему она такая невоспитанная!

— Короче, — сказала заведующая, — что вы хотите? Я не располагаю временем. Как я понимаю, вы возвращаете ребенка?

— Мы решили взять мальчика, — всхлипнула Мегги.

— Это исключено! — сказала заведующая.

— Почему? — спросил мужчина.

— Потому.

— Что это за ответ?



— Это мой ответ. Что вам еще?
— Ничего. — Супруги встали. — Мы будем жаловаться.
— Это ваше дело.

Когда они вышли в коридор, заведующая обратилась к девочке: ~~Эй! Збруцци~~
— Като, родная, пойди скажи тете Бабо, чтобы она уложила тебя спать.
— Они меня Цисией звали, — сказала девочка.

Дети были в длинных, по щиколотку, рубашках. Взявшись за руки, они пробирались сквозь тростник. Казалось, будто детский сад вышел на обычную прогулку. Беко тоже был там, вместе с Дато, и Гулико, и Лили. Обрадованный до слез Беко шел, высоко подняв голову. Тростник шуршал, но все равно было ясно слышно, как шлепают босые ребячные ноги. Потом тростник кончился, и показалось озеро. Дети вошли в воду и остановились только тогда, когда вода поднялась по шею.

Вода была теплая и приятная. Тростник плотной стеной обступал озеро со всех сторон. Сверху глядело усеянное звездами небо. Какой-то высокий человек появился на берегу и крикнул:

— Эй, вы что, не слышите?
— Как же нет, — ответили дети. — Слышим!
— Кто вы такие и зачем пришли сюда?
— Мы хотим спать, — ответили они.

— Вставай, тебе говорят! — кто-то сильно тряс Беко.

Беко приоткрыл глаза:

— А?
— Не «а», а приехали.
— Куда?
— В Париж! Вылезай!

Беко спрыгнул. Железнодорожников было двое.

— Ступай, друг, с богом! Дом у тебя есть? — спросил высокий сутулый железнодорожник.

— Есть, конечно. — Беко дрожал от холода и никак не мог прийти в себя. Он не понимал, где находится.

— Домой иди, слышишь? Домой! — сказал второй.
И Беко пошел.

Поезд снова доставил его на сухумский вокзал. Значит, он спал совсем недолго. Холод пронизывал до костей. Зуб на зуб не попадал. Он попробовал согреться, подпрыгивая и приседая. Когда он вышел на вокзальную площадь, дрожь немного унялась.

«И чего я тряусь в такую жару? — подумал Беко. — Железнодорожники, наверно, приняли меня за беспризорника, но разве я похож на ребенка? Да еще и на беспризорного? Что они, говорились — все как один: ты еще ребенок! Пора взяться за ум. Надо ехать в Тбилиси, учиться на экономиста или на прокурора, иначе так и останешься вечным ребенком».

Для детей люди придумали прекрасный, как райский сад, мир. Этот мир они наполнили игрушками, сластями и сказками. И до тех пор, пока голова ребенка не покажется над забором, как цветок фасоли, он принадлежит этому тщательно отгороженному миру. Настоящая жизнь начинается позже, но чтобы выдержать ее, нужно перейти сюда из страны детства, ибо у жизни корень и плод — одно.

Но дело в том, что границы детства шире, чем нам кажется. Случается, что и в старости наши овладевает вдруг безысходная смутная тоска, и мы думаем, что спасенья нет, хотя житейский опыт подсказывает нам другое: все недуги на этом свете излечиваются временем!

Короче, никто не хочет быть ребенком — ни взрослые, ни дети. Если кто-то и скажет: «Ах, как мне хочется быть маленьким» — не верьте! Он лжет! Наоборот, этот человек счастлив, что благополучно выбрался из детства, выпутался. Долго живут старики, а не дети. Если ты невредимым пересек границу детства, можешь вздохнуть с облегчением — значит, доживешь до глубокой старости.

Беко долго стоял на вокзальной площади. Потом на попутном грузовике отправился домой. Шофер высадил его у поворота, а сам поехал в Зугдиди. Беко быстро пошел по тропинке. Тропинка выведет его к «Роднику надежды», а там до дома рукой подать.

Завтра он засядет за учебники. Будет выполнять все, что ему говорят, вести себя так, как хочет мама. И вообще... вообще время браться за дело. Дело как палка: когда держишь в руках — никто не посмеет над тобой издеваться.

Хорошо, что Зина уехала. И Беко спокойнее. Только бы она была счастлива. Беко не станет преследовать ее, никогда не попытается ее увидеть. Он сгорает теперь от стыда, вспоминая, как звонил ей по телефону. Детские страсти — и больше ничего... Хотя... хотя, если это было детством... если это было прошлое... ну-ну, выкладывай, не робей!.. Это было не так уж плохо!.. Вот видишь, ты опять за свое. И когда только ума наберешься?

Беко бежал к дому и уже не помнил о недавно пережитом страхе. Короткий сон вернул его сознанию ясность. Неведомое прежде спокойствие овладело им. Беко чувствовал себя огромным и пустым. Нет, не совсем пустым: слабенький огонек радости тлел в сердце как свеча.

Одновременно испытанные печаль и радость сделали его взрослым, хотя этой перемены он сам не замечал. Однако тот свет, который внезапно возник в его существе, он нес с доселе незнакомой радостью, как женщина носит плод.

Беко увидел, что «Родник надежды» горит. Озаренные пожаром окрестности кипели людьми. Кричали женщины, плакали дети. Беко побежал вместе со всеми.

Зина только поставила ногу на подножку автобуса, как кто-то схватил ее за руку. Зина обернулась и чуть не упала: перед ней стоял Теймураз.

— Ты куда? — спросил Теймураз, улыбаясь.
От волнения Зине перехватило горло.

— Где Дато?
Теймураз снял сына с автобуса и держал его на руках.

— Ты помнишь меня, Датуна?
Они сели в машину и поехали к дому.

— Ну, как ты? — снова улыбнулся Теймураз.
Потом они лежали в постели. Теймураз курил. Никому не хотелось нарушать молчания... Казалось, все уже сказано.

— Ты хотела уехать без меня? — шепотом спросил Теймураз.

Зина насторожилась. Да, это был действительно Теймураз. А до сих пор казалось, что она изменила ему с другим, свела на нет долгие годы одиночества и ожидания. И казалось ей так потому, что этот другой, который сейчас лежал рядом, совсем не походил на того красавчика, которого она любила. Этот был взрослеем и мужественнее.

«Неужели и Пенелопа дождалась совсем незнакомого мужчину? — думала Зина, и ей нравилось сравнение с Пенелопой. Было в этом какое-то ощущение женской мести, расплаты: она изменяла мужу, который был и мужем, и кем-то другим — одновременно.

Теймураз усмехнулся.

Зина не отозвалась, и тогда он сказал:

— Знаешь, что у нас общего? И в твоем имени есть «з» и «а» и в моем. Ну, конечно же, это Теймураз!

— Ты все время об этом думал?
Он почувствовал, что она улыбнулась, и живо ответил:

— Да!
— Ты очень изменился...
— Старею...
— Нет...
— Такова жизнь...
— Устаешь?
— Да. Много работы.
Они лежали в темноте.

Скопившиеся за долгие годы гнев и горечь растворились без следа. Ей ни о чем не хотелось думать. Пальцы Теймураза скользили по ее плечу, и ее сознание распространялось лишь до той точки, где она ощущала его руку.

— Мне надо было уехать, — сказала она.
— Я заслужил это!
— Через год Дато пойдет в школу.
— Да.
— Как летит время, верно?
— Да.
— Не заметим, как он школу кончит.

— Наверно.

— Дедушка хочет, чтобы он стал врачом.

— Если попадет в институт.

— Попадет.

— Наверно...

Потом она задремала. И увидела во сне воду, по которой расходились круги: росли, множились и исчезали в насквозь пронизанной солнцем глубине.

Она открыла глаза. Теймураз спал. Зина подошла к окну и прислушалась к звону цикад. Стояла лунная ночь. Мимо дома с воем пронеслась пожарная машина.

Беко задыхался от дыма. Он пытался высадить дверь, в которую изнутри колотили детские кулаки. Дети кричали: «Откройте, откройте!». Наконец Беко плечом выбил дверь и влетел в комнату, тотчас угодив под огромное живое колесо. Дети, толпившиеся на пороге, ринулись к выходу, Беко невольно преграждал им путь.

— Не бойтесь! — кричал Беко. — Не бойтесь!

Его, конечно, никто не слышал. Тысяча рук схватила Беко, тысяча ног подмяла его под себя, растоптала, раздавила и затихла вдали.

Беко встал, закрыв лицо руками, шатаясь, побрел в дыму, ничего не видя. Стены и пол были охвачены огнем. Беко кое-как добрался до двери. Это была главная дверь, он уже занес ногу через порог, когда в толпе увидел Спинозу с ружьем. Он задержался на какое-то мгновение. И это мгновение решило его судьбу: обуглившаяся балка рухнула и загородила проход.

А Зина плакала, по причине неожиданной и почти невероятной. Вспомнила Беко, глупенького Беко Сисордия, который любил ее без памяти. Зина сбережет воспоминание об этой любви и, когда Дато вырастет и поумнеет, расскажет сначала ему, а потом и его детям.

«Интересно, будут ли тогда знать, что такое любовь?» — подумала Зина, вернувшись и легла рядом с мужем.

— Темур, Темур, — шепнула она.

— Что такое? — проснулся Теймураз.

— Ничего...

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ





ДЕВОЧКА ИЗ ТЮМЕНИ

● Рассказ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ колхоза села Земо-Мачхаани Нико Мамаишвили — человек уже пожилой, степенный, сообразительный и всегда задумчивый. Он никогда не спешит, хотя сердце у него юношески бодрое, не знающее усталости.

В тот день он вернулся домой к вечеру. На Олэ-Иори уже начались сенокос и жатва ячменя. Председатель хотел сам посмотреть, как идет работа. Увидев, что все в полном порядке, он успокоенный вернулся в село. Едва он вошел в контору, зазвонил телефон. Мысленно Нико был еще там, на Олэ-Иори, когда услышал в трубке голос:

— Дядя Нико, это вы? — спрашивала девушка. Голос был незнакомый.

— Да, я. А кто это?

— Вы меня не знаете, дядя Нико, я заведующая Тибаанской библиотекой, — отвечала девушка. — Как я рада, что застала вас!..

«Что ей надо, интересно знать, — подумал Нико. — Ладно, понятно, что ты обрадовалась, скажи, наконец, в чем дело, чего радуешься!»

А девушка продолжала щебетать так же оживленно:

— Дядя Нико, вы читали номер «Тбилиси» от семнадцатого июня? Там опубликован очерк... Я знала, что Натрошили из вашего села, потому и позвонила.

— Натрошили у нас до четырехсот семей живут... О которых именно говоришь?

— О Иосебе Натрошили... Он был офицер, погиб в Польше во время войны. Осталась у него дочка. Живет она в Западной Сибири, в городе Тюмень. Учится в девятом классе. И вот разыскивает своих родственников...

Нико тотчас же вызвал заведующую Земомачхаанской библиотекой и спросил ее выговор: «Не стыдно тебе, Нано, неужели мы из Тибаани должны узывать на таком деле? Срочно неси мне эту газету!»

Неделю спустя после того события я встретился с Нико в Цитадели Шкаро. Он рассказал мне обо всем.

— Как только яглянул на фото этого офицера, сразу узнал, — взволнованно говорил Нико, — Иосеб, сын Петре Урикаант. На моих глазах возмужал парень, я его и на фронт провожал. Помню отлично, он писал домой, что женился на русской девушки и хочет привезти ее в Земо-Мачхаани. Да не довелось бедняге, под самый конец войны, 10 марта 1945 года, он пал на поле боя... Смотри, какая славная дочь у него выросла, родственников разыскивают! Здесь они, здесь, девочка моя! Все здесь: и бабка твоя, и дядя — Закара и Вания, и тетушка твоя Маро, родная сестра отца. Да разве все мы не твои родные? — тут у Нико дрогнул голос и слезы сверкнули на глазах.

И я, на него глядя, еле сдержался. Его радость, его волнение передались мне, и сердце мое преисполнилось гордостью: вот ведь какой у нас народ, отзывчивый, теплый!..

Прочитав газету, Нико немедля созвал заседание правления и сообщил: «Люди! У нас, оказывается, есть дочь, и живет она в сибирском городе Тюмени, а мы и знать того не знали! Ее отец, Иосеб Натрошили-Урикаант — вы его помните, конечно, — погиб за Родину, спит он вечным сном в польской земле, и осталась дочь его полусиротой, без отца, значит, все мы теперь — отцы и братья ей!..».

Правление постановило: привезти сюда девочку Флору и ее мать — жену Иосеба, выстроить им дом, если, конечно, они пожелают здесь жить. А если и не пожелают, все равно, они всегда будут нашими дорогими гостями.

Когда мать Иосеба — бабушка Флоры — узнала про все это, она от радости дара речи лишилась. Старушка только о том и горевала, что у сына ее не осталось детей. «Господи, — вздыхала она, — был бы ребенок у моего Иосеба, мне бы легче было, казалось бы, что жив Иосеб, по земле ходит!» И вот, нате вам, нежданно-негаданно получает письмо от внучки. И ведь по глазам да по бровям Флоры наверняка сказать можно, что отсюда она, из Земо-Мачхаани. Вся в отца девочка!

А ждет Флору не одна бабушка, а все село.

— Клянусь моим единственным сыном, я ее как дочь буду любить, — говорит Нико. И будьте уверены, что так оно и будет.

Новость прокатилась по всему селу. Село-то огромное, до тысячи семей в нем. Земомачхаанские ребятишки письма пишут Флоре. А Нико срочную телеграмму отправил: напиши, дескать, пообстоятельнее о себе.

Большое, сильное, богатое село Земо-Мачхаани. Угодья его раскинулись по Ширааки и Тэла-Цкали, по Ола-Иори и на Чатме — всего до шестнадцати тысяч гектаров! Урожай всегда щедрый, обильный, и славится достатком Земо-Мачхаани не только в районе, но и по всей республике.

Многим может гордиться Земо-Мачхаани, но больше всего гордится село своей молодежью. Потому все так были рады, когда появилась девочка Флора, не известная до сих пор дочь села.

* * *

— Такой невесты, как Муся, во всем Земо-Мачхаани не сыскать! — воскликнул Бичико Кикнадзе, заведующий птицефермой, и, с улыбкой поглядев на Мусю (а надо сказать, что Муся каким-то образом доводилась ему родней), продолжал: — Если вы узнаете, что Муся сделала! Да вот, слушайте!

Муся смущалась, слыша похвалу в свой адрес, замахала на Бичико руками, но он, невзирая на это, продолжал:

— В прошлом году у соседей моих была свадьба. Невесту везли из Бодбе. Свадебный кортеж дружек ветром мчался по сельским улицам. Накоротке, прыжком скакали они на горячих конях и обогнали все «Волги» и «Москвичи». И знаете, кто повязал на грудь взмыленному коню пестрый платок — багдади, когда первый всадник влетел во двор? Она, наша Муся! Мы забыли этот дедовский обычай, а Муся напомнила его нам! Напомнила, как надо встречать дружек!

Бичико горделиво оглядывает сотрапезников и сияет. Мы сидим за наспех накрытым столом, Бичико — тамада, он стоит сейчас с бокалом в руке. Я сижу по правую руку от него, потом — Лоло Кобиашвили и ее старенькая мать Надя, а налево от Бичико — его супруга Тамар, рядом с ней — Муся и в

конце стола — Маро Аладашвили, сестра Иосеба Натрошивили, тетка Флоры. Как некое чудо, явилась эта девочка, единственная дочь Иосеба, Флора. Явилась и такой радостью одарила тетку, она и слов-то не находит, чтобы выскажи-
зать эту радость. Вот и сейчас сидит Маро с нами за столом, а и нет её здесь, вся она там, в далеком сибирском городе Тюмени, рядом со своей племянницей.

— Солнышко ты мое, кровинушка моя! — почти беззвучно повторяет Маро.

Ведь Маро и Муся только-только вернулись из Сибири. Побывали у Флоры, нагляделись на нее, гостинцев ей понавезли. И вот тетка все еще под впе-
чатлением. А у Бичико своя забота, он как тамада о застолье печется, решает сложный вопрос: продолжать ли пить вишневую настойку, поскольку кутеж на скорую руку, или уже время переходить на вино?

Я тем временем разговарился с Мусей. Муся — это так, по-домашнему, а вообще-то она — Мария Матвеевна Дешко. Всю войну украинка Мария Дешко была на фронте, медсестрой. Там же, на фронте, познакомилась с земомачхаанцем Симоном Кобиашвили. Отвоевав, Симон вернулся в родное село, и Муся — за ним.

Теперь Муся свободно говорит по-грузински.

— Здорово вы грузинскому выучились, Мария Матвеевна, — говорю я, когда тамада провозглашает тост за нее.

Муся ничего не ответила, только поглядела на меня. Действительно, что тут удивительного и необыкновенного?

Речь невольно заходит об изучении языков. Человек должен перво-наперво своей родной язык знать, а потом все ему легко будет даваться, и чем больше языков он изучит, тем богаче будет. Язык-то не только для разговора служит. Он дарован человеку, как синее небо, как луч солнца, как жизнь, как дыхание.

Тысячелетиями воевали и боролись грузины за то, чтобы сохранить свой язык, свою азбуку. И разве не повторилось это и в Великую Отечественную войну, когда верные сыны Отчизны, не дрогнув, гибли за спасение Родины и родного языка?!

И ты, маленький первоклассник, мальчик или девочка, помни и никогда не забывай, сколько крови пролил, сколько страданий вынес твой народ за спасение родной речи, той маленькой книжки, что лежит в твоем ранце. Верь в то, что родной язык выведет тебя на большие дороги, в разные страны — большие и малые. Выведет потому, что, владея своим языком, свободно чувствуя себя в его стихии, ты без труда изучишь язык твоих друзей. А разве можно без этого нам, детям страны дружбы и братства народов?

— Должна она знать грузинский, а как же! — подтверждает Надя Ко-
биашвили. — Был у меня сосед, пастух, Никой его звали. Остер на языки был и горд. Кизикийцы и прежде ходили с отарами в Азербайджан, в Ширван. Однажды пастухи сбились с дороги. Кое-как добрались до какого-то села. Дорога из этого села шла куда-то, куда — аллах знает. Постучались у одного порога, выглянул дочерна загорелый на азербайджанском солнце хозяин, приветствовали друг друга гости и хозяин, а как и что дальше говорить — никто не придумает. Ника мучился, мучился, никак не сумел ничего объяснить, потому ведь ни слова по-азербайджански не знает. Аж побагровел весь с досады. Потом рукой махнул и отошел. Глядит, а во дворе мальчуган хозяйствский лопочет что-то так бойко... Словно птичка щебечет — свободно, вольно. Стоял Ника, стоял, слушал мальчишку, и как хватит себя по лбу: господи! Надо же — этот малец так говорит по-азербайджански, а я, старый дурень, и того не сумел, чтобы дорогу спросить и спасти от гибели наших овец!

А весь разговор с того начался, что мы все никак решить не могли, кого из земомачхаанцев отправить в Тюмень, повидать Флору. Отправлять надо было такого человека, который два слова по-русски свяжет и сумеет дорогу спросить, чтобы с ним не приключилась Никина история. Тетушка Маро даль-
ше Земо-Мачхаани, Тибаани и Арбошки нигде и не бывала, а по-русски и полслова не знает. И все-таки отважилась на далекое путешествие, но ведь одну ее нельзя было отпускать, потому Нико вспомнил о Мусе, они вдвоем и поехали. И то сказать, земомачхаанская невестка, украинка Дешко, до самого Берлина дошла, оттуда — в Японию с нашими войсками попала.

Сидим мы и слушаем рассказ Муси об их путешествии в город Тюмень.

— Прилетели мы в Свердловск ночью. Оттуда до Тюмени предстояло добираться поездом. Я решила сейчас же покупать обратные билеты на самолет. Попросила кассиршу за пять дней раньше продать нам билеты до Ти-
билиси. А она — не могу, говорит, мы так не продаем. Я расстроилась, думаю, а что как на обратном пути не будет билетов, дома ребятишки меня ждут, да

и вообще дел столько... А ты сиди в аэропорту, жди, что называется, у моря погоды. Снова прошу кассиршу, а она — ни в какую! Я уж думаю, бор сней и уже ухожу, а она спрашивает: «А по какому делу вы в Тюмень-то едете?» Я все как есть и рассказала, рассказала про Иосеба, погибшего в Польше, про его доченьку, к которой сейчас едем, про то, как она сама своих родственников разыскала, и про то, что мы к ней едем с поручениями от всех ее родных — односельчан.

Слушала меня кассирша, слушала, и гляжу, слезы у нее на глазах выступили. И молча выписывает она мне билеты, молча протягивает и говорит тихо: «Пусть хоть с работы меня снимают, а билеты я вам дам!». Я, дура, даже имени ее не спросила, так растерялась, — Муся виновато улыбается и разводит руками.

И Маро Аладашвили продолжает взмолнивенно:

— Я была уверена, что мы с первого взгляда нашу девочку узнаем... раньше, чем она нас увидит. Но оказалось, она не получила нашу телеграмму...

Маро умолкла, ничего не смогла больше сказать.

Муся снова вступает:

— Прибыли мы на вокзал, взяли такси и сказали адрес: Советская улица, дом 37. Утро было. Подкатили мы к дому № 37, гостучались в калитку, отворили ее и вошли во двор. Видим — старушка во дворе хлопочет. А на крылечке девочка стоит, веник у нее в руках — подметает, значит.

— Здесь живут Натрошивили? — спрашиваю.

— Здесь.

— Флора дома?

Девочка так и застыла на месте. А старушка спрашивает:

— А вы не из редакции «Тюменской правды» будете?

— Нет, — говорю, — из Грузии мы.

Тут девочка птицей с крыльца слетела и — к нам! Бросилась мне на шею, «Тетя, — говорит, — тетя моя приехала!» И плачет, слезы, как жемчужинки, по лицу катятся. Говорю ей: «Флора, девочка, тетя твоя вон она, у калитки стоит». Флора глянула, увидела Маро, а та как стояла, так и повалилась без чувств. Хорошо, старушка ее подхватила, кое-как удержала.

— Когда она на меня взглянула, что-то меня ударило, будто током, глаза Иосеба я увидела, глаза брата моего! Ну, привиделось, думаю... И потемнело у меня в очах...

— Флора подбежала к ней, обнимает, и обе плачут, ревмя ревут. Видели бы вы, как эта девочка обнимала и ласкала свою незнакомую тетушку, привехавшую из-за тридевятки земель, из далекой, никогда не виданной Грузии.

Тут вышла мать Флоры, завели они нас в дом. Все мы были так взъярены, никак рта никто не раскроет, не знаем, что говорить, как начать. Флора — как птичка, будто крылья у нее выросли, — порхает по комнате. Я начала вынимать из чемодана подарки, которые мы привезли. Подношу Флоре сперва «Вепхисткаосани», она берет книгу, целует и к груди прижимает. Хотела я ей объяснить, что это за книга, да она, оказывается, сама знает. Потом даю ей ча-сы серебряные. Потом уж дошло дело и до фруктов — инжир, виноград... А остальное — два отреза на пальто, летнее и зимнее, обувь, на платье отрез, посуду разную, как вы велели, мы там покупали... На второй день пошли за покупками. Флора затащила нас по ателье да по магазинам: то ей цвет не нравится, то фасон, то цена высокая! Маро только диву давалась: эта девочка отца в глаза не видела, а на него как две капли воды похожа. Он тоже такой был — никак на него не угодишь!..

Я сейчас же перевела Флоре слова тетушки, а она от радости как бросится на шею Маро, там же, посреди улицы, и просит: «Скажи, чем еще я на отца похожа?».

— У тебя такие же черные глаза, как у него, — говорит Маро.

— Еще?

— И волосы кудрявые, как у него.

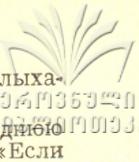
— Еще?

— Брови такие же точно, как у него, да еще маленькие ямочки на щеках, когда улыбаешься.

— А еще?

— Еще тем, что ты такая же хорошая и любимая...

Когда мы вернулись домой, Флора взяла бумагу, ручку и давай нас спрашивать: как по-грузински «вода», «солнце», «яблоко», «виноград»... Как



сказать «который час», что значит «дила мшвидобиса» (это она где-то слыхала и записала), что значит «генацвале», «шени чириме»...

Вспоминали мы бедного Иосеба. Мать Флоры показала нам последнюю телеграмму с фронта: «Жив-здоров, целую, ваш Иосеб». И письмо: «Если останусь жив, поедем в Грузию, а нет — сама гляди, как знаешь, так и поступай»... Это — жене письмо.

Иосеб познакомился с ней в тюменском госпитале. Там они и поженились, потом он уехал на фронт. Решение поселиться после войны в Грузии было у них с самого начала, но маленькая бумажка, «похоронка», как называли ее, принесла скорбную весть, и постепенно развеялась мечта о поездке на далекую родину Иосеба.

Но подросла девочка, и кровь отца заговорила в ней... Или что другое? Как бы то ни было, что бы то ни было, а она отправила письмо в редакцию газеты «Тбилиси», послала весточку о себе, о своем существовании на землю своих предков.

Весной она приедет в Грузию — Флора, дочь Натрошивили.

А пока вот письма ее — их привезли Маро и Муся. В подарок Нико — эта чернильница, и письмо ему шлет Флора, благодарит его горячо.

Маленькой Анико, дочери Муси, она пишет: «Я приеду весной, и ты научишь меня грузинскому». Левану, сыну Муси: «Когда приеду, своди меня в виноградник, хочу посмотреть, какой он».

Леван выполнит ее просьбу, и не только виноградник — всю Грузию ей покажет, ту самую страну, о которой мечтала девочка из сибирского города Тюмени, которая грезилась ей в ее снах.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ



ПРЕОБРАЖЕНИЕ

•
Роман
•

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ЛЕТНЕЕ пекло, когда воздух над Тбилиси раскаляется и повисает неподвижно, каждый день, поближе к закату, от города в сторону Цхнети устремляется нескончаемый поток автомашин.

Пешеходам и не разглядеть на ходу небрежно откинувшихся на мягкие спинки седоков. Да и недосуг им глязеть по сторонам и коситься на чужие автомашины: у каждого полон рот своих забот. У многих семьи на даче в ближних деревнях, и им надо поспеть на автобус. Другие рвутся на Тбилисское море — искупаться и отдохнуть хоть немного на свежем воздухе. Третья успели заскочить после работы на рынок, запаслись там мясом, зеленью, фруктами и торопятся домой, к своим семьям. Ну, а те, кто привык себя побаловать, едут за город покутить, провести время...

В один из таких вечеров по Вокзальной улице шагал стройный паренек лет семнадцати-восьмнадцати. Он то и дело посматривал себе под ноги, словно опасаясь: оступишься, замешкаешься, так тебя не ровен час сбьют с ног, а то и вовсе затоптут эти валяющие куда-то валом люди.

Паренек пересек Вокзальную площадь, приостановился, оглянулся, и ему самому стало невдомек, как это он умудрился преодолеть такой огромный, текущий полноводной рекой поток пешеходов и автомашин и перебраться на эту сторону.

Пройдя к билетным кассам, он обратился в справочное с вопросом, когда ожидается поезд на Телави, и получил в ответ: «Больше до утра ничего не будет». Тогда он прошел в зал ожидания, устроился на скамье в уголке, вытащил из портфеля оставшиеся от обеда ломоть хлеба и колбасу, перекусил наскоро, а потом достал завернутый в газету задачник по физике и принялся устно решать задачи. После четвертой задачи его сморило, и он незаметно задремал.

Пробудил его толчок в плечо и хриплый окрик над самым ухом:

— Самтредия! Прибыли, просыпайся!

Но как же, черт побери, ему не хотелось открывать глаза!

Кто-то снова ткнул его в плечо, на этот раз посильнее, а от рыка «встань!» у него чуть не лопнула барабанная перепонка. Перед ним стоял вокзальный дежурный, и слова вылетали у него изо рта наподобие бульдожьего лая.

— А ну давай из зала!

— Мне ехать в Телави, дружище! — еще не влодне очухавшись, попробовал объяснить паренек.



— Да хоть в самый Трапезунд, а не в Телави! А пока давай, давай из зала, да побыстрее!

— Но я же пассажир!

— Ух ты, скажите, какова персона! Я кому сказал, чеши из зала ^{ЭБИЛЗБУД} ~~ДО~~ утра на Телави поезда нет.

— Но куда же мне деваться среди ночи? Что тут такого, если я пережду здесь?

— Здесь тебе не ночлежный дом! Собирай-ка свои шмотки да порастопнее!

Парень хотел было еще раз попросить, чтобы ему разрешили посидеть до утра на вокзале, но свирепое выражение лица дежурного не допускало никакой попытки — видно было, что, сколько его ни проси, толку не будет, он все равно не разжалобится. Оставалось подняться и идти из зала.

Стояла полночь. На залитой светом лампами Вокзальной площади не видно было ни души.

Парень медленно побрел вниз по улице Челиоскицев. Да и куда, спрашивается, ему было спешить? В этом большом городе его никто не ждал.

Дойдя до моста, он медленно повернулся назад. Путь сюда, как ему показалось, занял минут пятнадцать. Так оно и вышло: стрелки часов на Вокзальной площади показали, что дорога до моста и обратно заняла в общем тридцать минут. Постояв пемного на площади, он снова двинулся по безмолвной улице к мосту, а оттуда обратно. Так и промаячил до самого рассвета. Суставы ломило, все тело ныло от усталости, нестерпимо клонило ко сну.

Эх, был бы поблизости какой-нибудь садик! Присесть бы, передохнуть чуток, хоть на мгновение сомкнуть глаза...

Свернув в сторону «дезертирки»¹, он вышел на улицу Тельмана и, на свое счастье, оказался вскоре у небольшого сквера подле стадиона «Динамо».

Он прошел в глубь сквера и присел на самую крайнюю скамью — по дальше от любопытных взглядов. Не успело его утомленное бессонницей и долгим хождением тело обрести состояние покоя, как всего его охватила сладкая истома, и он мгновенно уснул.

Город с шумом просыпался. Где-то поблизости, погромыхивая, проходили трамваи.

С трудом осваиваясь с дневным светом, парень медленно открыл глаза.
«Ну и заспался же я! Не опоздать бы к утреннему поезду», — пронеслось у него в голове, и он, вскочив, быстрыми шагами вышел из сквера.

До вокзала было рукой подать, но из опасения снова опоздать на поезд он решил не идти пешком, а проехать на трамвае. От волнения он беспокойно вышагивал взад-вперед мимо ожидающих трамвая людей, то и дело обращаясь к кому-нибудь с вопросом: «Вы не скажете точно, который час?». Но, как на беду, часов ни у кого при себе не оказалось. Наконец ждать больше стало невтерпеж, и парень, махнув досадливо рукой — только-де потерял напрасно столько времени, пешком давно бы уже добрался, — двинулся по направлению к вокзалу. Однако, сделав несколько шагов, он передумал и остановился: все равно напрасно столько времени здесь проторчал, а теперь, наверно, трамвай вот-вот подойдет! С этими мыслями он вернулся на остановку и спросил из-за спины у какой-то только что подошедшей женщины:

— Вы не скажете, калбатоно, который теперь час?

Женщина покосилась на него через плечо:

— Не знаю, дяденька!

Парень выпучил от удивления глаза. «Калбатоно» оказалась девчушка лет шестнадцати-семнадцати. Недаром голосок у нее был звонкий, как колокольчик.

— Вы не сердитесь... Это я так... нечаянно...

— Не велика беда! — холодно ответила девушка, всем своим видом выражая полное безразличие: стара-я или молода для тебя, мне это решительно все равно, и ни к чему мне твои извинения. Однако лицо ее зарделось, а глаза задержались на парне с явным интересом. Они некоторое время, не отрываясь, молча смотрели друг на друга, словно проверяя, кто кого переупрямит. Под конец девушка не выдержала и первой потупила голову.

Тем временем подошел трамвай. Одни сошли с него, другие поднялись на их место.

Парень, уверенный почему-то, что девушке с ним по пути, набравшись храбрости, обратился к ней со словами:

— Пошли, трамвай трогается.

— Подымайтесь. Я жду другой номер, — ответила она и отвернулась.

¹ Старое название одного из рынков в Тбилиси.

Тут особых объяснений не требовалось: девушка не садилась в трамвай, потому что хотела от него отвязаться.

Да, но заглянем и к нему в душу. Для него теперь расстаться было хуже смерти. Эх, и надо же было ему лезть со своим предложением! Поги кругом слышали его слова, и теперь, останься он, не только девушка, но и все другие станут в душе над ним посмеиваться.

И парень сел в трамвай. Однако уехать в деревню он в тот день и не подумал.

Несколько часов он проболтался без толку по городу, а к полудню сно-ва вынырнул подле сквера: по его предположению, девушка должна была жить, видимо, отсюда неподалеку. Она, несомненно, где-то учится, думал он, а значит, вскорости будет возвращаться трамваем или троллейбусом домой.

Битых два часа вышагивал он туда-сюда по тротуару, все ноги исходил все глаза проглядел, но девушка так и не появилась...

«Нет, больше я сюда не ходок!» — говорил он себе всякий раз, протолкавшись напрасно несколько часов. Но стоило выдаться свободной минуте, и он снова и снова бежал сюда...

Но вот однажды, прогуливаясь, как обычно, возле остановки, парень и в самом деле увидел девушку. Она сидела в сквере на скамейке, уткнувшись носом в книгу.

Он решительно направился в ее сторону, хотя даже трудно сказать, что придало ему смелости.

Девушка не отводила глаз от книги, но он все же решился приветствовать ее.

— Здравствуйте, девушка!

И присел на скамейку напротив.

— Здравствуйте, — ответила она, как того требовала простая вежливость, но в голосе ее при этом прозвучала какая-то очень задушевная нотка, а лицо осветилось улыбкой, от которой на щеках появились две крохотные ямочки, сделавшие ее особенно миловидной.

А как загорелись, как засветились ее глаза! Они озарили сердце паренька таким ослепительным светом, каким еще никогда не озаряло мир девятиглазое солнце. Все запело у него внутри песнь радости, более пленительную и сладковзвучную, чем соловьиные трели. Весь охваченный чувством неизъяснимого восторга, он невольно воскликнул:

— Боже, какой чудесный рассвет!

— Да, действительно! — поддакнула девушка и добавила с легкой иронией: — Только, пожалуй, для рассвета поздновато — уже больше десяти часов!

— Если тебе хочется знать точно, то сейчас ровно половина одиннадцатого, ни минутой больше, ни минутой меньше, но у меня такое ощущение, будто над землей только-только занялась заря.

Девушка рассмеялась его словам.

— Ты почему смеешься?

— Ты с таким видом заявил, что сейчас ровно половина одиннадцатого, будто и в самом деле можешь определить время с точностью до минуты!

— Ты не смеяся, я и правда могу. Верь или не верь, а я, даже когда сплю и вижу сон, все равно знаю, в который раз пропел петух.

Девушка снова рассмеялась.

— Если ты такой кудесник, то чего же спрашивал в тот день у каждого который час?

— Гм! Как тебе сказать? — Юноша почесал в затылке, повел глазами на небо, но, так и не найдя, что ответить, решил перевести разговор на другую тему. Однако девушка его опередила:

— А я и днем совсем не чувствую времени.

— Часы бегут для тех, кто счастлив! — заметил паренек, воспользовавшись строкой из собственного стихотворения. Он частенько повторял эту строку про себя, а при случае, если находился повод, охотно пускал ее в ход и в разговоре.

— Ты что, поэт?

— А почему ты решила?

— Говоришь как-то высокопарно, да и волосы у тебя длинные, как у поэтов.

Парнишка мечтал в душе стать поэтом и был совсем не прочь, чтоб его приняли за поэта, потому он и не стал особенно отнекиваться.

— Я немного ~~пишу~~ пишу стихи.

— Стихи пишу и я тоже.

Ну вот они и нашупали тему для разговора. Сперва речь зашла о поэзии, потом пошло чтение любимых стихов, ну, а под конец они повели разговор  о себе.

У парня не было никого, кроме матери: отец его погиб в Отечественную войну. Он сдавал теперь экзамены в политехнический институт. Жить ему в городе было не у кого, в студенческом городке места тоже не нашлось, и поэтому после каждого экзамена он возвращался в деревню. Туда всего полтора часа езды поездом.

— А я сдаю в медучилище. Моя мечта — стать когда-нибудь врачом, — говорила девушка. — Пока живу у тети. Их в семье четверо, квартира очень маленькая — две крохотные комнатушки. А мне заниматься при ком-нибудь — острый нож. Вот я и облюбовала себе здесь местечко для занятий. Хожу сюда готовить предметы...

В сквере уже давно было полно народу, и гуляющие, верно, посмеивались в душе над странной парочкой: вот чудаки, чего они расселись на версту друг от друга, ровно им одной скамьи на двоих мало? А может, поссорились, кто их знает?

«Надо бы пересесть к ней поближе, чего я так оробел, право?» — подзадоривал сам себя парень, но все продолжал оставаться на месте. Ему было почтено-то неловко, да и боязно: как отнесется к этому девушка?..

— Ну, я пошла, — сказала она, поднимаясь, и в глазах ее мелькнуло что-то вроде укоризны: ну, чего, мол, ты сидишь как чурбан, встал бы, проводил меня хоть немножко.

Парень тоже поднялся и пошел с нею рядом, тщетно стараясь приворотиться к ее мелким шажкам.

У выхода из сквера она приостановилась:

— Я хочу тебя попросить о чем-то.

— Догадываюсь. Дальше мне с тобой не идти, да?

— Только не обижайся! Мне не хочется выходить из сквера вместе с тобой. Боюсь, не встретить бы тетю. Они и без того недовольны, что я хожу сюда заниматься, целый тарарам подняли из-за этого.

— Ладно, я с удовольствием посижу еще здесь.

— Всего хорошего.

— Завтра утром я буду тебя ждать.

— Не обещаю.

— Может, ты завтра занята, тогда послезавтра.

Девушка ничего не ответила.

И вдруг юноша высыпал скрограммой, будто внезапно опомнившись:

— Послушай! Что же это за чушь получается?

— А что такое?

— Мы-то ведь с тобой еще не знакомы!

— Меня зовут Ирмой, а тебя?

— А я Элизбар.

Они обменялись рукопожатием, которое, кстати, послужило и прощанием... В назначенный день оба они без опоздания явились в сквер, и с той поры так и продолжали там встречаться.

Элизбара зачислили в институт, и он стал жить в студенческом городке. Ирма была принята в медучилище. Оба они пребывали в том свойственном юности блаженном и приподнятом состоянии, когда все на свете любо, когда хочется от полноты души обнять весь мир. Для них наступила та прекрасная пора, дорогими воспоминаниями о которой тешит себя старость. Когда осень стучится в дверь, люди частенько приговаривают со вздохом: «О, если бы только можно было вернуть упорхнувшую птицей молодость! Если б можно было пережить заново всю сладость тех невозвратных дней!».

Молодая кровь в них играла, и они так и кружили друг возле друга. Они радовались жизни, улыбались всему миру, доставали руками до звезд. Они любили друг друга...

Дни летели за днями, шел месяц за месяцем, проходили годы...

Ирма закончила училище и получила направление в один из районов Рачи.

Как она ждала этого дня! Сколько раз о нем мечтала! Она ничего не имела в душе против своей тетушки, но все-таки ей было у нее очень трудно. В доме каждый шаг с оглядкой, все на кого-то смотри, все к кому-то принаравливайся! А теперь она не сегодня завтра начнет работать и заживет вполне самостоятельно. Только думать об этом и то уже счастье!

Но все-таки на сердце у Ирмы немного скребло — с Тбилиси у нее было связано столько хороших воспоминаний, она так любила его сады, парки, его шумные улицы! Со всем этим, ставшим таким дорогим и привычным, ей очень

нелегко было расставаться. Да и потом, как же они с Элизбаром будут друг без друга?! Нет, это невозможно, она не вынесет этого!

А на Элизбара в последнее время, как нарочно, нашло что-то непонятное. Раньше у него с языка не сходило, что только Ирма закончит — и она ~~закончит~~ ^{закончилась}ится, а теперь он замолк и ни гу-гу. Хмурый, угрюмый, он ходил ~~вздохами~~ ^{вздохами} опущенной головой, словно на его плечи навалились скорби всего подлунного мира.

А когда Ирма заговорила с ним об этом, он ей ответил:

— Эх, моя любимая! Я все думаю, как же я останусь без тебя! Будь у меня хоть какая-нибудь коморка, мне бы и горя мало. Подыскал бы я себе работу на вечерние часы, после лекций, или бы перешел на вечернее отделение. Но кто нам даст приют, кто пустит нас под свой кров?! Я уже два дня сбиваюсь с ног, ни одной улицы не пропускаю, но все хозяева твердят одно и то же, будто сговорились: «Когда бы ты был один, мы бы с удовольствием, а семейным не сдаем...». Прямо хоть в петлю лезь!

— Не отчаивайся! Что-нибудь найдется. Говорят, на Авчальском шоссе легко снять комнату. Чем плохо? Временно можно пожить и там.

— Конечно, совсем неплохо. Ведь живут же там люди. Но как быть насчет твоей работы? Я все время ломаю голову.

— На работу я в Тбилиси устроюсь. У меня есть один знакомый врач, очень хороший, очень отзывчивый человек, он мне непременно поможет.

— Дай-то бог, дай-то бог! — скорее с сомнением, чем в знак одобрения мотнул головой Элизбар. — А вдруг...

Ирма не дала ему договорить:

— Какой ты странный стал за последнее время! На каждом слове у тебя «а вдруг», «а вдруг»... Чего ты так боишься?! Мы ведь с тобой не калеки, слава богу. Как другие живут, так и мы будем жить. Или ты больше меня не любишь? Может, что-нибудь изменилось?

— И не грех тебе такое говорить, Ирма?

— Я не знаю... Эти твои бесконечные колебания...

Влюбленные еще долго судили-рядили, взвешивали и прикидывали и так и сяк и в конце концов пришли к решению — не откладывая сообщить о своих намерениях близким...

Прибывшая из деревни Ирмина бабушка, узнав про Элизбара, замахала руками: «Ну нет, дорогая моя! Этому не бывать!».

— Что делать, бабушка, люблю! — только и отвечала ей Ирма.

— Да ты что, девочка?! Неужто в таком большом городе никого получше для тебя не нашлось? Ведь у него ни кола ни двора, да и в кармане вощь на аркане.

— Не говори так, бабушка! Ведь не в богатстве дело!

— Ладно, ладно! Но на какие шиши вы собираетесь жить? У вас же нет собственного поместья? Да и помочь вам некому.

— Не бойся, бабушка! С голоду не погрем.

Как ни билась, как ни старалась старая бабка отговорить Ирму, ничего у нее из этого не вышло. Та упорно стояла на своем. Старуха совсем извелась с ней и, махнув на все руки, собралась восвояси.

— Ты такая своеольная, что с тобою не сладишь, — говорила она напоследок Ирме. — Ну, дело твое. Коль не желаешь слушаться моих слов, поступай как знаешь...

Мать Элизбара тоже не очень была довольна выбором сына, однако, видя, что тут уж все равно ничего не изменишь, она не стала ему перечить.

— Ирма славная девушка, — говорила она, — приветливая, говорливая, да и собой хороша, красавица, статная, только одно плохо — что у нее, как и у тебя, нет никого, кто помог бы вам стать на ноги, поддержал в трудную минуту? Подумай, сынок, не пришлось бы тебе раскаяться...

— Человек, мать, женится только раз, и выбирать себе спутника жизни надо по любви!

— Ох, весь ты в отца! И он, покойник, был с характером. Ему кого только не сватали, кто не хотел заполучить его в зятья, а он всем предпочел мою горемычную головушку.

— Ну и что ж, разве он проиграл?

— Кто знает, может, когда и пожалел?

— Не думаю. Ты гляди, чтоб в девушке других изъянов не было, а не иметь богатых родственников — это еще не порок.

— Ну, будь по-твоему, сынок. Знать, такова твоя судьба. А я буду молить бога, чтоб он даровал вам счастье, чтоб вы прожили в любви до седин.

— С этими словами мать сняла с пальца колечко. — Это свадебный подарок твоего отца. Подари его своей невесте.

Загсироваться решили не откладывая: Ирму торопили с выездом на работу, а представь она документ, что ее муж учится в Тбилиси, ей бы разрешили остаться в городе.

Ирмина тетушка не благоволила к избраннику своей племянницы, поэтому решено было пока ее ни во что не посвящать.

Ирма попросила быть свидетельницей одну из своих подруг по медучилищу, а Элизбар избрал в свидетели своего однокурсника Шота, с которым, кстати, и жил в общежитии в одной комнате.

Когда Элизбар обратился к своему приятелю с этой просьбой, тот вместо ответа только широко улыбнулся и весело подмигнул:

— Значит, сегодня обедаем по-царски?

— Спрашиваешь? Только изволь распорядиться, где заказывать стол: на фуникулере или в «Исинди»?

— Я бы и от кафе «Цискари» не отказался, но туда не разрешают вносить вино! Так что не стоит нам, пожалуй, зря трепать нервы, лучше уже вкусить хлеб-соль прямо у себя в общежитии.

Жених с невестой и их свидетели собрались перед университетом. Чем выстаивать в очереди на такси, решено было проехать до улицы Плеханова на сорок втором автобусе.

Пропустив жениха с невестой вперед, дружки поднялись в автобус следом за ними. В автобусе сидело с десяток пассажиров. Ирма с Элизбаром уселись рядом, дружки вытянулись перед ними.

На задней скамейке расположились, видимо, возвращавшиеся откуда-то музыканты. Барабанщик, плотный, низкорослый крепыш, спал, подперев руками круглую голову в кахетинской шапочке и уставив локти в свой барабан. По обе стороны от него сидели два его товарища — зурначи. Один из них предавался блаженному отдохновению, притулившись головой к плечу барабанщика. При каждом новом вдохе щеки его округло вздувались, а при выдохе опадали, как проколотый иголкою надувной шарик, и воздух со свистом вырывался из уголков рта. Едительно бодрствовал только второй зурнач.

Не успел автобус тронуться, как на проезжую часть улицы выпорхнула с супругами стороны университета стайка девушек и юношей, крича шоферу, чтоб он остановил.

Шофер сделал рукою отрицательный жест.

— Постой, постой, подожди! — крикнула ему все-таки еще раз одна из девушек, стройная, длинноногая, как газель.

— Только ради тебя! — лукаво улыбнувшись, тряхнул головой шофер и, притормозив, распахнул обе дверцы.

В автобусе сразу стало шумно и весело.

— Ну поехали, поехали! — распорядился один из студентов, кудрявый парнишка с живыми черными глазами.

— Ишь ты! Вы посмотрите на него! Только что чуть не со слезами упрашивал, останови, мол, останови, а теперь не дает ни охнуть, ни вздохнуть, — проворчал шофер и, поддав газу, так рванул с места, что его беспокойные пассажиры чуть не повалились с ног. У барабанщика было скатился с колен барабан, а дремавший у него на плече зурнач, качнувшись вперед, пнул головой в спину стоявшего перед ним кудрявого парня.

— Прости, дорогой, я вроде вздрогнул, — извинялся он перед «пострадавшим», усиленно протирая глаза и недоуменно покачивая головой: как, дескать, это меня угораздило?

— Ладно, ладно, дяденька, так и быть, прощаю, — шутливо успокаивал его кудрявый паренек. — Вот сыграли бы вы нам лучше что-нибудь хорошее. Мы купить едем — друг женится, и у нас певучее настроение.

— Правда, сыграйте, сыграйте! — попросила и удостоившаяся комплимента водителя девушка.

— Что ж, дорогие ребятки, играть — это наше дело, и мы бы вам не отказали, только вот... — и барабанщик выразительно посмотрел сначала в сторону водителя, а потом и кондуктора: как, мол, они к этому отнесутся?..

— Не бойтесь, они свои, ничего не скажут! А если инспекторы приедутся, мы им объясним, что у нас свадьба, — уговаривал зурначей кудрявый парнишка.

— Шутки шутками, ребята, а у нас действительно свадьба, иначе это никак не назовешь! Вот они, — Шота показал глазами на Элизбара и Ирму, — едут расписываться. А мы с ней, — он обнял за плечи Ирмину однокурсницу, — свидетели, то есть дружки.



— Э-э, да выходит, здесь настоящий свадебный поезд... Так поздравим же нареченных! — воскликнул кудрявый парень.

— Поздравляем, поздравляем! — хором завопили и остальные пассажиры автобуса студенты и студентки.

В это время автобус остановился у здания школы, и двое пассажиров сошли, а подняться никто не поднялся.

Молодежь уломала-таки зурначей. Барабанщик стал принаршиваться поудобнее, его товарищи тоже взялись за свои инструменты, и только автобус тронулся, барабанщик ударил в барабан, а зурначи задудели в свои зуны.

— Что тут происходит?! — с удивлением оглянулся шофер.

— Свадьба, свадьба! — понеслось с разных сторон.

— Вы что, хотите меня угробить?!

— Не робей, ничего не будет! — беззаботно махнул рукой кудрявый паренек.

— Хоть номер сниму... Вот уж удручили! Попадись я теперь в лапы к инспекторам, обдерут как таранку! — и водитель поспешно повернулся к себе маленькой прислоненной к стеклу табличку с надписью «№ 42», на обратной стороне которой значилось по-русски и по-грузински: «По заказу».

Барабанщик не шутил. Он извлек из-за пазухи барабанные палочки и заиграл как на настоящей свадьбе. Зурначи тоже изо всех сил раздували щеки...

Подъехав к проспекту Руставели, водитель сбавил скорость. Прохожие с улыбкой поглядывали на автобус, передавая из уст в уста: «Свадьба! Свадьба!».

— Свадьба! Свадьба! — выкрикивал, высунувшись в открытое заднее окно автобуса, кудрявый паренек. А в это время другой парнишка, свесившись из переднего окна, просил у стоявшего посреди площади регулировщика:

— Пропусти побыстрее, друг! Сам видишь, свадьба, свадьба!

Угрюмый с виду милиционер показал рукой, что придется-де немного подождать, повернувшись, задержал поднимавшиеся по подъему Элбакидзе машины и открыл автобусу «зеленую улицу» по проспекту Руставели.

Но тут вдруг расшумелся водитель: на кой, мол, мне это направление, когда я должен сворачивать на Элбакидзе! Однако оказавшийся уже спиной к нему милиционер ничего не рассыпал.

— Послушай, друг, доведи доброе дело до конца — прокати нас, сам знаешь как, по проспекту! — подначивал водителя Шота.

— Эх, была не была! Положу за вас свою головушку, братцы! И помните, что я не кто-нибудь, а тбилисский парень! — решился водитель, и автобус покатил по проспекту Руставели.

Шагающие по тротуарам прохожие встречали и провожали автобус веселыми возгласами, махали руками, аплодировали.

Легковые машины пристраивались за автобусом гуськом, не позволяя себе его опередить. Это был, видимо, своеобразный способ выразить свое почтение жениху и невесте... А издали вся картина выглядела как большой и торжественный свадебный кортеж...

Поющий автобус обогнул площадь Ленина, спустился по Пушкинской, мирился мост через Куру и, выехав на левобережную набережную, остановился перед Дворцом бракосочетания.

Первыми из автобуса вышли жених с невестой, а уж потом дружки и примикинувшие к свадебному поезду веселые ребята-студенты. Наконец выбралась из автобуса и зурначи, а уж последним спрыгнул водитель.

— Сыграйте нам, отцы, «картули», которое танцуют в «Даиси», — попросил он зурначей.

Мигом образовался круг, и водитель пошел по кругу, лихо поигрывая плечами. Дойдя до стройнейкой девушки-студентки, которую он заприметил еще возле университета, он остановился перед ней, мелко и часто перебирая ногами, и с поклоном пригласил ее на танец. А уж оттанцевав с ней, он пригласил и невесту. Ирма стала отнекиваться, уверяла, что не умеет танцевать, но уж тут ее никто не уважил. «Что за свадьба, если невеста хоть разок не пройдется в танце по кругу!» — требовательно кричали со всех сторон. И Ирма, раскинув руки, лебедью поплыла впереди водителя. Вот когда грянули аплодисменты! Все чуть ладони себе не поотбивали.

Водителя вскоре оттеснил Шота, а его в свою очередь — кудрявый паренек...

Вдоволь натанцевавшись, водитель достал из кармана пятирублевку.



— Дай тебе бог, старик, радости до конца твоих дней! А это — будто я уплатил штраф! — Затем он обернулся к молодым: — Желаю вам, друзья мои, долгой и счастливой жизни. Пошли вам бог новую квартиру и через годишко — вихрастого пана. Жаль, не могу погулять на вашей свадьбе! Ну, будьте здоровы, до свидания.

Водитель вскочил в автобус. С ним уехали и музыканты. Вскоре рассеялись и примкнувшие к свадебному поезду студенты.

Дальше все пошло своим чередом.

Ирма и Элизбар расписались. Свидетели тоже поставили свои подписи.

В студгородок поехали на такси. По дороге, на площади Героев, остановились, купили хлеба, сыру, колбасы и две бутылки красного вина.

Зная наперед, что вина не хватит, Шота прикупил от себя еще четыре бутылки шампанского, приговаривая при этом, что смесь красного вина с шампанским — это такая прелест, что почице хванчкары.

Из комнаты вынесли лишнюю кровать, признали у ребят по соседству стол и стулья. Когда стол был накрыт, Элизбар поглядел на него с удовольствием и весело заявил, что на столе недостает лишь птичьего молока.

Только стали рассаживаться, как соседи по комнате прислали молодым бутылку коньяка и шоколад. Как же было не пригласить к столу таких славных, доброжелательных ребят!

Тамадой избрали Шота.

Первый тост был за молодоженов. Потом выпили за их родных и близких, а уж после, конечно, пожелали здравия и дружкам, и гостям.

Один из соседей-студентов сбежал к себе в комнату и приволок гитару. Вот когда песни полились рекой...

К счастью, день был субботний и корпуса пустовали — все разбрелись кто куда, а то молодоженам не сдобровать бы от гостей.

Веселье все разгоралось, песни звучали громче и громче, так что в конце концов достигли слуха дворового сторожа.

— Что тут у вас творится?! Вы, часом, не забыли, что находитесь не в лесу? — прогудел он оглушительным басом, приоткрыв дверь.

— Один стаканчик с нами, дядюшка Егор!

— В чем тут у вас дело, объясните?

— Свадьба, свадьба!

— С вами совсем голову потеряешь, честное слово! Только еще свадебных кутежей мне не хватало!

— Сегодня суббота, корпуса пустые...

— Мы же никого не трогаем, никому не мешаем, — вмешался в разговор парнишка-сосед.

— Не серчай, дядя Егор! Благослови-ка лучшие молодых. От тебя не убудет, а им в радость! — задабривал сторожа Шота, протягивая ему стаканчик коньяку.

Дядюшка Егор покосился на стаканчик, помедлил немного, не зная, на что решиться, но, видимо, не устоял перед соблазном и дрогнувшей рукой потянулся за коньяком.

— Будьте здоровы, будьте счастливы, дети мои! Совет вам да любовь до глубокой старости, — провозгласил он и поднес стаканчик ко рту. Пил он медленно, крошечными глотками, будто вкушал божественный нектар и старался как можно дольше продлить удовольствие. Опорожнив стаканчик, он потянулся за хлебом и колбасой, между делом выясняя:

— Коньяк-то, верно, трехзвездочный, а, ребята?

— Что ты, дядя Егор! Разве мы осмелились бы преподнести тебе трехзвездочный? Это пять звездочек! — внес уточнение Шота.

— Вот оно как! То-то я чую, уж больно он вкусный.

Шота снова наполнил стаканчик и поднес его Егору.

— Будь что будет, еще один!

— Не торопи, пусть человек закусит! — остановил его один из соседей-студентов и, поднявшись, пододвинул Егору свой стул, а сам присел на краешек стула сидевшего рядом с ним товарища.

Перевод Маргариты ГРЖЕНДЗИЦА

Продолжение следует





СВАНЕТИЯ! Гранит и мрамор, гремучие реки и минеральные источники, падающие орлы и близкие звезды...

Звезды здесь в горах действительно рукой достанешь... Особенно если смотреть с башен Местии или Ушгули. Или это светятся озаренные лампочками Ильича Местии и Мулахи, Наки и Ушгули?

Тишина. Всеобъемлющая бездонная тишина. Вспыхнет, падая, искра-звезда. И еще сказочней и таинственней станут древние башни. Кажется, приглядись — и увидишь возле них щиты, дозорных в узких бойницах. И чудится, вот-вот зазвучит воинственная «Лилео», оживут седые предания старины...

Даже сейчас разрушенные временем и непогодой башни Сванетии величественны и грозны. Глядя на них, понимаешь, как тонко чувствовали древние архитекторы гармонию окружающих скал и утесов, как точно сочетали своеобразное изящество и строгость башен. А сегодня с ними соседствуют ажурные вышки высоковольтных электропередач. Словно символы истории...

Помню рассвет в Ушгули... На высоте 2.500 метров. Казалось, мир рождается из синих-синих облаков. Помню головокружительную дорогу над вздувшимся от горных снегов Ингури.

Сегодня в Местии двойной праздник — под самые облака протянули люди высоковольтную ЛЭП и радиорелайную телевизионную линию. Для тех, кто может оценить проделанную работу, она кажется не меньшим чудом, чем телевидение для сванских стариков, — ведь обе фантастически сложные трассы были проложены практически за полгода. Когда эта дорога будет закончена, никто, конечно, не назовет ее ни Дорогой упорных, ни Дорогой отважных: дорожные указатели не знают таких названий. А жаль! Это было бы лучшей наградой для тех, кто строит шоссе в горах Сванетии.

Дорогу прокладывают в глубоком скалистом каньоне бешеной реки Ингури. Узкая, с крутыми поворотами, местами укрепленная подпорами, вьется она по скале над кипением волн Ингури.

...Машина идет медленно, того и гляди, колеса повиснут над бездной. На крутом повороте большой камень сохранил, видно, очень давно сделанную кем-то запись: «Пронеси, господи». Рассказывают, что в незапамятные времена тут погибло немало смельчаков. Невольно улыбнешься наивности этой надписи...

С каждым поворотом становится все прохладней. И тяжелей дышать. Тяжело и нашему вездеходу — пофыркивая, он взбирается к поднебесью. Повсюду здесь следы битвы титанов — Природы и Человека. Это здесь был прикован к скалам Прометей-Амирани...

Смотришь и невольно поражаешься упорству, отваге и умению тех, кто участвовал в сооружении радиорелайной линии. Много добрых слов заслужил бульдозерист М. Девдариани. Он «разтузил» такие горные кручи, такие утесы, что диву даешься, как удерживались на них человек и машина. В результате к труднодоступной, но особенно важной вершине Хвамли была проложена 2 $\frac{1}{2}$ -километровая дорога.

...Различные приборы, арматуру, грузы надо было срочно доставить на эту заоблачную вершину.

НАСЛЕДНИКИ АМИРАНИ

Тогда и бросил клич молодежи первый секретарь Местийского райкома комсомола Бондо Кахиани. Живой цепочкой поднимали грузы на вершину.

Монтаж ретрансляторов вела бригада управления «Стальконструкция» треста «Грузмонтажспецстрой».

Огромное мужество проявили газосварщики В. Прохоров и Д. Кубанешивили, монтажники Т. Вашакидзе, Р. Гордадзе и многие, многие другие. В рекордно короткий срок закончили они монтаж газохранилищ и газооборудования термогенераторов.

Были смонтированы два газохранилища для снабжения топливом термоэнергетиков, которые питают электроэнергией приемные и передающие антенны на высоте до 3.300 метров над уровнем моря. Зимой они недоступны, для их обеспечения годовым запасом топлива пришлось устанавливать двенадцать цистерн высокого давления. Этот уникальный комплекс впервые в нашей стране в столь необычных условиях смонтирован здесь, в Сванетии, до отдаленных уголков которой и сегодня не так-то просто добраться.

Когда уже почти все было смонтировано, настали дни особого напряжения — их не забудут ни секретарь ЦК КП Грузии, в те дни министр связи Зураб Амбросиевич Чхеидзе, ни первый секретарь Местийского райкома партии Борис Эрастович Саралидзе. На вершину надо было доставить сжиженный газ — пропан. А дорога — не асфальтовое шоссе, и уклон непривычно крут. Переход высот -- 1.600 метров!

В горах нас застала ночь. Шофер, ощупывая дорогу фарами, медленно вел машину все выше и выше. Казалось, двигались горы вокруг и впереди нас, а мы словно застыли среди их ночного величия. В белых полосах света возникали предупреждающие знаки, изгороди, а где-то внизу, заглушая поезд, ревел горный поток.

Бывают дни, когда туманы закрывают путь в ущелье вертолетам и самолетам, а гололед и снегопады делают непроходимыми горные дороги. По пояс проваливаясь в снег, добирались на республиканский партийный съезд делегаты из Местиа...

Надолго останется в памяти жителей Сванетии день, когда засветились голубые экраны в горных районах — Цагерском, Лентехском, Местийском. Это — еще один яркий пример партийной заботы о нуждах человека, о его духовном развитии.

Мы взбираемся по каменным ступеням на самый верхний — пятый этаж сванской башни «косики». Перекрытия в ней местами обрушились, кое-где выпали камни. Из самых верхних бойниц сквозит солнечный свет. Мок и пастух покрывают мрачный камень. Еще несколько ступенек — и, потревоженный, из башни с шумом вылетел горный орел. Покачиваясь на крыльях, он не спеша взлетал все выше и выше... Припав к узкой, словно в танке, смотровой щели, мы жадно вглядываемся в раскинувшуюся перед нами даль.

Чиста синева небес над селением. У прозрачного горизонта — зубчатая стена Главного Кавказского хребта, его вершины укутаны белыми облаками. Ломаная линия темных гор, охватывая ущелье, слегка вогнута. Справа их сторожит суроый Тетнульд, слева — двуглавая Ушба.

Так с башни кладки чуть ли не XII века мы начали знакомство с «красным» Мулахи — колыбелью революции в Верхней Сванетии. Именно здесь в феврале 1921 года была провозглашена Советская власть и образован Земо-Сванетский ревком.

Новая жизнь пришла в Сванетию не сразу. Ее делали передовые горного края — Гавриил Никарадзе, Геган Гварлиани, Али Давитiani, Платон и Надежда Джапаридзе, первые коммунисты — Сильвестр и Георгий Навериани. С тех пор все здесь изменилось. От той, прежней Сванетии остались лишь древние башни.

...Подземный гул внезапно тревожит молчание гор. Где-то работают взрывники. То ли на Ингури, то ли в мраморных карьерах Дизи, то ли на новых баритовых рудниках. Здесь, в горах, далеко слышно.

Старшие, старейшие, старейшины! Издревле предпочтение отдается не просто возрасту, а тем делам, тому опыту, что стоит за человеком.

Сколько воды унес бурный Ингури с тех пор, а я все слышу негромкий голос Георгия Навериани, учителя из Мулахи, «учителя жизни», как зовут его все здесь.

Учитель Георгий — человек спокойный. Он любит пройтись по саду, лишний раз зорким хозяйственным глазом окинуть деревья, услышать едва уловимое потрескивание: голос живых ветвей. Под цветущими деревьями в его саду — пчелиные ульи. А тогда, полвека назад...

Птицей полетела по Сванетии весть: в Мулахи большевики взяли власть в свои руки. Полосается по ветру красный флаг. Древняя башня стала рев-

комом. Первый секретарь ревкома — Сильвестр Навериани — двогородный брат Георгия.

К тому времени за плечами у молодого Георгия Навериани ~~уже было~~ стаж подпольщика, он выполнял партийные поручения, за них ~~захотили~~ меньшевистские ищейки.

...Всадник на взмыленном коне влетает в село: «На Мулахи идут вооруженные отряды!». Георгий взбирается на башню, поднимает тревогу. Опустились тяжелые засовы. Пригодились дедовские башни: в них большевиков недостать ни ружьем, ни пулеметом. Потекли дни осады.

Спешит на подмогу восставшему Мулахи красноармейский отряд Прохорова. Но в теснинах Ингури, среди скал, что зовутся сейчас Прохоровскими, погибнет отряд, окруженный кольцом врага. И всю зиму сто двадцать мулахских большевиков во главе с Сильвестром Навериани укрывались в башнях, отстреливаясь через бойницы. Сто двадцать против тысячи двухсот, осаждавших красный Мулахи с юга, запада и севера.

...Глаза Георгия загораются, когда он вспоминает те дни. Шел пятый месяц осады. От башни к башне передали: патроны кончаются. Скоро нечем будет отбиваться от врага. Все пути из Мулахи блокированы. Лишь заоблачные кручи двух перевалов — Твибери и Цанера — не охраняли караулы. Да и зачем? В истории Сванетии не было случая, чтобы кто-либо зимой прошел по этим непрступным скалам. Отряд Навериани — двадцать пять человек — рискнул: пошли через заснеженный перевал Твибери. Георгий остался в осажденном Мулахи.

Горстка отважных прошла. Получив в Тбилиси пулеметы и патроны, соединившись с отрядом Красной Армии, через тот же Твибери они вернулись в Мулахи...

Я смотрел на Георгия. Он казался мне вечным и крепким, как дерево, пустившее в землю глубоко разветвленные корни.

— А жизнь прекрасна, друзья мои! Мне немало лет, но я не перестаю радоваться каждому дню. Дети, внуки, ученики... — говорит он.

Ученики... Они взрослели и уходили от него. И из них вырастали не просто летчики, инженеры и врачи, геологи, земледельцы — из них вырастали коммунисты...

Маленькая Сванетия за годы Советской власти дала Родине прославленных воинов и ученых, деятелей искусства и литературы, знатных чабанов и агрономов, геологов и рудокопов.

...Я спускаюсь к ущелью, где, пенясь, грохочет Ингури. И мне кажется, что ущелье таит в себе какую-то неведомую силу, которая вдохновляет богатырей, вскормленных этой землей.

Сюда, в самое сердце Сванетии, летят самолетом. Неутомимые «воздушные извозчики» сделали этот некогда затерянный в горах край близким и доступным. И вот летишь из Зугдиди в Местиа над горными пиками, и перед тобой одна за другой открываются тайны горных теснин Сванетии и ее закрытых со всех сторон долин, в глубине которых — стремящиеся ввысь стройные башни сванских деревень... В шум водопадов, грохот обвалов вплетается мерный рокот серебряных птиц. Смелые, отлично знающие свое дело пилоты, такие как Тенгиз Гуладиани, Демур Ратиани, Борис Гварлиани, Мирон Джохадзе, Геронт Ингуриани, регулярно водят сюда самолеты и вертолеты.

Здесь, в горах, пилоты всегда желанные гости. Их с нетерпением ждут люди, для которых новый вид транспорта, незаменимый в горных условиях, значительно облегчил передвижение, экономит время...

Снег шел целыми днями не переставая. Главный Кавказский хребет был закрыт белой пеленою и темными свинцовыми тучами. Обильные снегопады, которых не помнят здешние старожилы, отрезали селения от Большой земли, завалили дороги, порвали связь.

Первый сигнал о бедствии пришел из Дизи. Лавина обрушилась на поселок средь бела дня и унесла четыре дома. Через час снежное цунами прошло по Чубери.

Люди остались без крова и продуктов. К ним, расчищая серпантин горных дорог, шли с Большой земли колонны бульдозеров. Но новые обвалы повторяя за минуту сводили на нет усилия целого дня. Дойдя до Хаиши, бульдозеры остановились. Идти в глубь Сванетии было уже невозможно. Спасти положение могли только вертолеты.

Узенькая лента дороги, вьющаяся внизу под нами, была в некоторых местах перерезана темными полосами сползшей породы. Из этого нагромождения каменных глыб, земли и снега торчали телеграфные столбы, порванные провода...

Вместе с нами в горы летел Джамбул Хвадагиани, прораб, один из тех, кто строит ИнгуриГЭС. Мы познакомились еще в Зугдиди, когда грузили в вер-

голет муку. В Дизи погибли родственники Хвадагиани. «Мы с женой решили воспитать малышей, оставшихся в живых», — сказал он мне в аэропорту.

— Когда случилось несчастье, все, кто был поблизости, бросились на помощь, — говорит Джамбул. — Ночью при свете фонарей и факелов разгребали завалы, искали пострадавших, готовили площадки для вертолетов, членами утрамбовывая снег ногами. Никто не щадил себя. Работали, падая от усталости...

Джамбул замолчал. Вдали, на небольшом заснеженном плато, показались домики Чубери.

Люди здесь продолжали жить и бороться. Никто из них не жаловался, не впадал в панику. Они восстанавливали поврежденные снегом строения, прокладывали дорожки между селениями.

И когда вертолет снова вырвался из снежного облака, было видно, как горцы долго махали нам на прощание. И снова, и снова садились мы в вихре белого снега. Выкатывали из вертолета большие бочки с соляркой, обжигая руки об их холодные железные бока.

...Мы на заоблачном руднике. С каждым годом сюда прибывает все больше отечественной техники. Страна снабдила горняков великолепными механизмами. Бурильщики, взрывники, монтажники, водители. Горцы вооружены самой совершенной техникой. В их распоряжении умные машины, облегчающие труд человека.

Внимание!.. Взрывы!.. Ослепительная радуга зажглась в воздухе. Зажглись улыбки и на лицах моих спутников, пожилых и совсем юных.

Отцы и дети. Когда я смотрю на зарницы мирных взрывов, алеющие над карьером, видится мне в них полыхающее на ветру красное знамя революции, которое отцы передали детям.

...Шумят, шумят серебристой листвою горные леса. Так же будут они шуметь, когда здесь вместо скал и шиферных крыш замаячат стремительные стрелы экскаваторов и загремит, загрохочет новый рудный карьер.

Геологи долго простукивали и сверлили мраморные горы, потом прикинули, каковы запасы, и даже растерялись: они оказались неиссякаемыми, причем мрамор — всех цветов радуги. Этим мрамором сегодня облицованы подземные дворцы метро в Москве и Тбилиси, его с удовольствием покупают многие зарубежные страны.

О горняках нельзя говорить без волнения. Сильные духом, отважные люди трудятся здесь, покоряя горы. Начальник участка Бесо Квициани хочет назвать лучших работников, но затрудняется при выборе и обращается к учетчику с просьбой дать ему список. Вот сводка: рядом с каждой фамилией — трехзначное число. Не выполнивших задания нет. Передовики Эрасти Калдани, Амирлан Квициани, Григорий Чкадуа, Шалико Пипия, Джинджико Самушия... Всех не перечислишь.

Горы не хотят расставаться со своими сокровищами. Но двери в подземные сокровищницы уже раскрыты. Здесь — редкие полиметаллы. Без них не обойтись в машиностроении и химической промышленности, электро- и радиотехнике. Ничтожная примесь их делает сталь твердой и вязкой, способной выдерживать громадные нагрузки и высокие температуры. В двигателях и в приборах и, быть может, на космических трассах предстоит работать металлу, добывшему разведчиками недр Сванетии.

Страной непрступных гор и древних башен называют Сванетию. Но, может быть, устарело это название сегодня?

Там, где бродили чуткие туры, пролегла высокогорная автотрасса. Там, где лишь орлы вили гнезда, строители ИнгуриГЭС ведут наступление на бурную реку; штурмую склоны ущелий, пробираются к богатствам добытчики руд, мрамора, полиметаллов... И люди древнего края стали жить по-новому. Думали ли их деды, что внуки будут сооружать золотой каскад на Ингури?..

Сравните такие цифры: в 1921 году в Сванетии был один-единственный врач и ни одной больницы. Сегодня в двух районах — Местийском и Лентехском — сотни врачей, десятки больниц, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, бальнеологический курорт. В лечебных учреждениях — самое современное медицинское оборудование.

Черты советского образа жизни проявляются и в том, что в распоряжении жителей горного края — пять домов культуры, двадцать клубов, двадцать библиотек, краеведческий музей. Детвора учится более чем в семидесяти школах, в числе которых есть и музыкальная.

А сколько усилий, душевных сил, труда затрачено за полвека, чтобы люди, веками терзаемые страшной силой кровной вражды, стали жить по кодексу: «Человек человеку — друг, товарищ и брат»!

Два немолодых человека — впрочем, разве поэты не всегда молоды? Константин Симонов и Реваз Маргиани ходили по улочкам Местии. Удивительное дыхание горного ветра вызывало ощущение полета. Вдали убегали ввысь отроги, скалы в алмазной россыпи ручьев, седые камни башен. Красная земля...

Вечером была встреча местийцев с писателями. Концерт. Звонкий напев «Лилео»... Это происходило совсем недавно. Аудитория ничем не отличалась от любой другой аудитории: в зале находились врачи, учителя, инженеры, многочисленные любители поэзии. И вряд ли кто из присутствовавших в зале вспомнил, как много-много лет назад, в такой же летний день 1934 года, в ярко-голубом бездонном небе Местии послышался нарастающий гул мотора. Встревоженные местийцы с удивлением всматривались ввысь. Там, в небе, где они видели лишь парящих горных орлов, появилась невиданная стальная птица. Когда она пролетела над селением, в воздухе закружились сотни белых листков. Это был первый номер газеты, отпечатанной в Сванетии.

«В книгах, которые вышли до революции, говорилось, что Сванетия — загадочная страна, хранящая свои национальные традиции и закрытая для постороннего мира большую часть года. Я попал в центр Сванетии на самолете. А легендарный город башен — Местия теперь превратился во вполне современный центр...» Эти слова принадлежат японскому писателю Иппо Фукуро, переводчику на японский язык гениального творения Руставели.

Горы Сванетии манят туристов со всех концов страны и из-за рубежа. Недаром они — колыбель наших замечательных альпинистов. Будущее этого края в значительной степени должно быть связано с созданием спортивных, оздоровительных и туристских комплексов, которые уже сейчас, по подсчетам специалистов из Госплана республики, могут быть рассчитаны на прием более чем двадцати тысяч человек.

Каждый уголок Сванетии зовет в странствие, сулит знакомство с редчайшими достопримечательностями и интереснейшими местами.

Земляки Сильвестра и Георгия Навериани, их деды и прадеды испокон веков жили в горных селах. Кала, например, — одна из самых высоких населенных точек Кавказа, на границе с ледниками, где иной раз даже летом замерзает вода в кувшинах. Доставить туда товары первой необходимости — проблема. А как благоустроить селения под облаками, чем занять людей, живущих среди голого камня и ледников? Много, много дел и много проблем в Сванетии...

В Местийском краеведческом музее хранятся изумительные вещи, сделанные руками народных умельцев: всевозможные чеканные изделия, украшения из дерева, керамика, бурки, хурджины, войлочные ковры и многое другое. Каждый экспонат неповторим и своеобразен.

В будущем Сванетии значительное место займет туризм, создание высокогорной зоны отдыха — лыжных и спортивных баз.

Всего год остался до окончания реконструкции автомобильной дороги Хаishi — Местия, единственной артерии, связывающей горцев с другими районами республики. Тогда сообщение с Большой землей уже не будет зависеть от капризов погоды. В десятой пятилетке намечено также строительство трех канатных дорог: одной для туристов, двух — для доставки сена с высокогорных пастбищ. Это позволит сделать резкий скачок и в развитии животноводства.

...Мы поднимались вверх по Ингури. Поднимались вдоль берега, где течение не так сносило, где вода была гладкая, зеркальная, а посередине, рассекая реку, несся бурный поток, и там волна, разбиваясь о волну, звенела каким-то тонким металлическим звоном. У берегов река была красно-розовая от листьев, плывущих по ней, от отсвета леса, как от пламени гигантского костра... Какой праздник, какое буйство красок! И вдруг — такая знакомая бересклет, с ее дрожащими золотыми монетками...

Мы поднимались медленно, а мне хотелось еще медленнее. Мне хотелось, чтобы эта река никогда не кончилась...

Здесь, в сердце Сванетии, в дремучей чащобе особенно остро чувствуешь голоса природы. Прислушайтесь же к ним. К серебряному звуку горной речки, к невнятному шелесту трав и к звучному безмолвию величественных гор Сванетии. И вас охватит чувство благодарного и бескорыстного удивления перед красотой жизни, бессмертной красотой родной земли.





Роман МИМИНОШВИЛИ

Критика
и литературоведение

Грузинская
Академия наук

Интернационализм и художественная литература

ТРУДНО переоценить значение художественной литературы в жизни современного общества. Познание жизни и обобщение ее явлений в художественных образах никогда не ослабляли своего плодотворного влияния на духовную жизнь человека. Начиная с древнейших времен, когда первые пропагандисты художественной мысли — аэды и рапсоды воспринимались как глашатаи божественной воли, кончая современными писателями, художественное слово, образное мышление, наряду с научной мыслью, мышлением в понятиях, составляет ту сторону человеческого существа, которую вместе с эмоциями мы называем духовной жизнью.

И если это так, то художественная литература, имеющая многовековую предысторию и историю, многочисленные направления и течения, литература многоязычная и многоголосая, должна иметь одно общее свойство, которое можно проследить как основную линию, определяющую ее жизнеутверждение.

Эта линия — любовь к человеку. Гуманизм по-разному проявляется в разные эпохи и у разных писателей, однако он не может ограничиться лишь выяснением отношений между отдельными индивидуумами: цель литературы состоит в отображении отношений между группами людей, слоями общества и шире — между целыми народами. В художественных произведениях естественно переплетаются чувства патриотизма и интернационализма. В зависимости от идеологии автора они, эти чувства, проявляются по-разному. Бывает и так, что патриотизм со своих величественных высот опускается до дна шовинизма, а интернационализм — до космополитизма, но история беспощадна к таким писателям и произведениям их живут недолго. То, что мы называем классикой, т. е. художественное наследие, которое с честью прошло испытание временем, не может быть запятнано идеями национализма или космополитизма. Если с этой точки зрения рассмотреть самые древние памятники мировой культуры, скажем поэмы Гомера, то увидим, что им не чуждо не только чувство патриотизма, но и выражение лояльных, даже дружеских чувств к представителям разных племен и народностей. Монолитным единством представлена в поэмах Гомера «многоязычная Троя»; герои поэм ищут не только причины вражды противоборствующих сторон, но и стремятся в генеалогическом древе найти общих предков и нередко возводят свое происхождение до единого божественного начала. Это не случайно: ими движет сознание того, что все люди — братья, независимо от языка и клеменной принадлежности. Гуманистические зерна древней европейской поэзии и литературы сослужили добрую услугу и христианству. Идея любви к ближнему была одной из самых привлекательных идей, способствующих популяризации христианства.

Мы смело говорим о гуманизме древних авторов еще до эпохи Ренессанса, мы утверждаем, что Шота Руставели был великим певцом любви к родине и защищал идею дружбы народов. Говоря об этом, мы уверены, что в нашем утверждении нет никакого анахронизма. Уже тот факт, что на пути к дружбе и побратимству в «Витязе в тигровой шкуре» нет ни национального, ни даже религиозного барьера, красноречиво свидетельствует о справедливости нашего

убеждения. Вместе с тем ярко выраженные в поэме Руставели чувства дружбы между народами, не акцентированные в произведениях его предшественников, а скорее всего наличествующие подсознательно, в виде не использованной еще потенциальной энергии, заставляют нас утверждать, что гениальный поэт ^{еще}_{— поэт} в идеальном отношении намного опередил свою эпоху, которая толкала человека скорее к ненависти между народами, нежели к дружбе. Вспомним хотя бы, что именно в его эпоху на Востоке имело место сильное брожение, велись кровопролитные войны, происходила миграция целых народов, исчезновение старых и появление новых племенных объединений, а на Западе под флагом христианства целые государства шли в «священный крестовый поход»... Таковы были исторические условия, когда Руставели соединил нерасторжимыми узами индийца Тариела, араба Автандила и мульгазанзарца Фридона. В этом факте мы видим, с одной стороны, гениальность поэта, но, с другой стороны, что не менее важно, готовность читателя оценить его идеи. О том, насколько смог оценить это грузинский читатель, красноречиво свидетельствует история.

Идея интернационализма вместе с идеей патриотизма живет в любом народе с древнейших времен; именно поэтому народ никогда не приемлет книгу человеконенавистническую, проповедующую национализм или космополитизм.

Все это отнюдь не означает, что литературные памятники древности совершенно лишены пороков национализма или космополитизма. Этого утверждать, конечно, нельзя. Наоборот, в образах древней литературы нередко встречается презрительное отношение к тому или иному народу или же пренебрежение чувством патриотизма. В средневековой христианской письменности, например, иногда проповедуется идея космополитизма, когда независимо от национальной принадлежности человек объявляется «гражданином всей вселенной», и если он чем-нибудь отличается от остального населения планеты, то лишь вероисповеданием. В то же время полемический пафос христианских или мусульманских авторов направлен не только против других религий, но и против целых народов — инаковерцев. Таким образом, идеологическая непримиримость авторов перерождается, перерастает в национальную непримиримость. Это отражается не только в теологических трактатах, но, естественно, и в художественной литературе.

Поэтому, когда мы говорим о том, что идеи интернационализма отражаются в древних памятниках литературы, мы не упускаем из виду, что здесь речь не может идти о страстной пропаганде этих идей, а лишь о лояльности к представителям другого народа, о том, что литература в силу своей внутренней природы обладает стремлением к развитию в данном направлении.

И художественная литература доказала свое право считаться одной из самых гуманных отраслей духовной культуры. В эпоху социализма, в эпоху полного расцвета идей интернационализма, дружба народов стала не только одной из основных тем художественного творчества, но и могучим стимулом поэтического вдохновения, ведущей линией литературы.

Выше мы отмечали, что идеологический импульс древней литературы, точнее, литературы досоветского периода, не давал возможности полностью раскрыть внутреннюю гуманистическую природу художественного творчества и во весь голос воспеть дружбу народов. На этом фоне мы восхищаемся гениальностью отдельных классиков (мы привели пример Руставели), преодолевших идеологический барьер своей эпохи. Советскую литературу питает идеология марксизма-ленинизма, идеология, проповедующая равноправие всех народов; таким образом, впервые в истории человечества внутренняя гуманистическая природа литературы и идеология ее создателей приходит в полную гармонию.

История литературы знает и немало примеров, когда художественное отражение реальной действительности не соответствует мировоззренческим принципам писателя; поэтому, например, Л. Н. Толстой, проповедующий христианскую, реакционную догму непротивления злу, по меткому замечанию В. И. Ленина, оказывается «зеркалом русской революции».

В Постановлении ЦК КПСС о подготовке к 50-летию образования СССР говорится: «Всемирная история еще никогда не видела во взаимоотношениях десятков наций и народностей столь нерушимого единства интересов и целей, вели и действий, такого духовного родства, доверия и взаимной заботы, какие постоянно проявляются в нашем братском союзе».

Именно поэтому чувством интернациональной дружбы пронизано каждое значительное произведение многонациональной советской литературы, именно поэтому мы так свято храним это чувство от влияния современной буржуазной идеологии, готовой использовать малейшую трещину для проникновения в нашу жизнь.

Чувство интернациональной солидарности вырабатывается среди трудящихся масс, оно полностью отвечает их жизненным интересам, это искреннее чувство ничего общего не имеет с лицемерными лозунгами буржуазных идеологов о

«братьство и равенство». К. Маркс так говорил об интернационализме рабочего класса: «Человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с загрублеными от труда лиц глядит на нас вся красота человечества».

Поэтому произведения прошлого, воспевающие общечеловеческие идеалы, хотя и не пропагандирующие дружбу народов, но, во всяком случае, не задевающие самолюбия другой нации, находили путь к сердцу народа.

Для советской литературы интернационализм является принципом, идеальной позицией. Справедливо замечает Г. И. Ломидзе: «Интернационализм — не одна из многих тем наших писателей. Интернационализм — самая сущность советской литературы, та идеальная позиция, с высоты которой она неизменно рассматривала проблемы социальной жизни и борьбы, профлемы человеческого счастья».

Идеологические предпосылки являются основной причиной развития темы интернационализма и укрепления интернационалистской позиции писателей. Но есть и другая причина, в силу которой дружба народов стала фактором, определяющим природу советской литературы, — это политическое, экономическое и культурное сближение народов Советского Союза. Великие стройки коммунизма, совместная борьба советских народов за независимость Родины, за успешное выполнение задач пятилеток, единые цели и стремления определили укрепление братских уз, привели к тому, что взаимопомощь и взаимообогащение национальных культур стали нормой жизни. Литература не отставала от жизни, она отображала сближение советских народов и сама способствовала этому сближению. Являясь зеркалом жизни, она вместе с тем стимулировала становление и развитие этой жизни.

Неудивительно поэтому, что история мировой литературы не знает таких форм обмена творческим опытом, которые внедрены у нас. Это и длительные творческие командировки в союзные республики, декады и дни той или иной национальной литературы в разных союзных республиках, юбилеи национальных писателей, выливающиеся во всесоюзные праздники, совместные совещания, диспуты, съезды и т. д.

Еще в 30-х годах по инициативе М. Горького были созданы бригады писателей, которые знакомились с жизнью братских народов; благодаря этим мероприятиям появились, например, роман Э. Самуилена «Будущность» — о жизни грузинского народа и «Белорусские рассказы» К. Лордкипанидзе. Эти писатели не только глубоко проникли в жизнь братского народа, но и как бы обменялись героями своих произведений.

Свидетельством большой интернациональной дружбы наших писателей является неустанный труд переводчиков. Сближение национальных культур способствует знакомство с трудающими братских народов; не случайно, например, за большие заслуги перед грузинской литературой, за великолепные переводы и прекрасные «грузинские» произведения высшей республиканской награды — премии имени Руставели удостоены Николай Заболоцкий, Николай Тихонов и Михаил Бажан.

Гармоничное сочетание советского патриотизма и пролетарского интернационализма тщетно пытаются отрицать буржуазные теоретики литературы. Они хотят доказать, будто интернационалистская позиция советской литературы основана на стирании национальных черт братских литератур. Они закрывают глаза на многообразие советской литературы, которое достигается тесной связью каждой национальной литературы с многовековыми традициями и историей своей нации, основываясь вместе с тем на единых стремлениях советского народа, вбирая в себя все лучшие достижения культуры братских народов.

Буржуазные критики не хотят понять и другого: вся история литературы, равно как и вся история человечества, в своем развитии стремилась к созданию справедливого мира, к созданию равенства между народами, и по мере приближения к нашей эпохе литература все больше выявляла свою гуманистическую, интернационалистскую сущность. Интернационализм лежит в самой природе художественной литературы, поэтому интернационализм советской литературы не является свойством, привнесенным извне, а следствием более глубокого раскрытия внутренней природы художественной литературы.



НОВЫЙ РОМАН— НОВЫЙ ГЕРОЙ

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ Победы над фашистской Германией в творческой биографии Вано Урджумелашвили явилось вдвойне достопримечательным событием. Вместе со всем советским народом он праздновал эту дату, с одной стороны, как непосредственный участник Великой Отечественной войны, ее очевидец, переживший все тяготы, которые принесла с собой эта военная буря в пору наибольшего испытания сил нашей страны. С другой, она связана с его первым писательским успехом, с вступлением в грузинскую художественную литературу. Подобно другим коллегам его поколения, Вано Урджумелашвили писателем сделала война. Начатую на крайнем западе, он завершил ее на крайнем востоке — у границ Японии. Именно первым отражением фронтовой жизни того периода были его «Дни в Корее», а ее последним отзвуком — роман «Москва — единственная в мире», которым он встретил в минувшем году День Победы. Под тем же названием вышла и его новая книга, в которую наряду с этим романом вошли все рассказы писателя на военную тему. Такое сведение к единому фокусу всех событий Великой Отечественной войны помогло ему осмыслить как одно неразрывное целое понятия — Родина и Москва. Как единственная в мире социалистическая Родина, так единственная в мире и Москва — говорит нам название книги. На каком бы участке фронта ни сражался советский воин, он в конечном счете защищал эту Родину, везде и всегда в первую очередь ее цитадель, ее сердце — Москву. Именно об этом говорит нам содержание книги, способствуя, таким образом, конденсированному восприятию сегодняшних и завтрашних целей.

Вот с таким синтезированным представлением о прошлом, настоящем и будущем, с таким высоким душевным настроем, исходящим уже из названия книги Вано Урджумелашвили, входим мы в мир героев его нового романа. При этом следует тут же отметить, что, несмотря на показ тяжелых, трагических моментов и явлений, чувство грусти, сожаления и неудовлетворенности не доминирует в ней. Наоборот, верх берет романтическая приподнятость, выразившаяся в громком окрике Вахтанга Кахабери, пришпоривающего своего преданного коня:

— Держись, Казбег, скачи, лети!

Именно вместе с этим Казбегом вступил советский воин Кахабери на труднейшую дорогу войны у нашей западной границы 22 июня 1941 года, и 5 декабря того же года он с ним же преследует фашистские полчища на запад. Боевая история этого героя — краеугольный камень сюжета романа. Процесс формирования характера этого воина Советской Армии писатель показывает в обобщенном аспекте, масштабно и панорамно, в ходе славных боевых баталий, во взаимной связи с подразделениями, бойцами и командирами. Иногда эта связь обрывается, что и помогает создать единую, правдивую и впечатляющую картину прошедшей войны, ее первых дней, передать настроение бойцов в тяжелый период отступления, показать нашу победу в битве под Москвой, вселившую веру в окончательную победу советского народа над гитлеризмом.

Арена боевых действий в романе не локализована. Она показана в соответствии с динамикой движения, в комплексном единстве стремительных перемен и бесчисленных неожиданностей. Вслед за молниеносными ударами, словно в кино, следуют единим взглядом схваченные боевые эпизоды. Все это

свидетельствует об умении Вано Урджумелашвили быть не только рассказчиком событий, но в то же время писателем-баталистом, одним из тех литераторов, которые обогатили грузинскую военно-художественную литературу об разами этого жанра.

Он относится к той категории писателей, которые пришли в советскую литературу непосредственно с фронта, основной формой творчества которых стал батальный жанр. В связи с этим напомню, к примеру, два романа Павла Федорова о героической жизни командира кавалерийской дивизии Льва Михайловича Доватора вплоть до его гибели под Москвой.

Вано Урджумелашвили вывел главным героем своего романа не столь известную легендарную личность, а простого, рядового бойца, наделенного здоровыми душевными качествами, чистотой чувств и переживаний, идеальной убежденностью, которые дают представление о всей нашей молодежи сороковых годов, о том поколении, которому выпало на долю перенести на своих плечах тяжкий груз Великой Отечественной войны.

Подобно бравому солдату Швейку Ярослава Гашека, Вахтанг Кахабери своей непосредственностью и наивностью в целом ряде случаев создает такие комические ситуации, что трудно удержаться от смеха. Но это не помешало ему стать настоящим бойцом. Военная волна выбросила на берег и отдельных лжепатриотов и болтунов. Но миллионы людей с чистой душой, подобных Кахабери, война сделала настоящими героями. В героизме Кахабери нет ничего показного, натянутого, надуманного. Он до конца верен своей солдатской клятве, своему воинскому долгу. Это защитник своей Родины не на словах, а на деле. Выносливость, непоколебимость веры и надежды делают этот образ особенно привлекательным.

Искренность в передаче фронтовой жизни, чувство меры, правдивость и достоверность — основные свойства романа Вано Урджумелашвили. Автобиографические элементы во многом формируют характер главного героя романа, его поведение и действия. А его душевная красота вызывает желание походить на него.

Большая времененная дистанция, отделяющая нас от первых дней войны, позволила писателю глазами простого солдата более здраво и разумно взглянуть на некоторые стороны фронтовой жизни, увидеть рядом с жестоким врагом, с фашистской Германией — Германию Эрнста Тельмана, Германию трудащегося народа, представители которого, вынужденные выполнять приказы гитлеровской клики, все же сохранили разум и способность правильно видеть явления. Несмотря на некоторый налет условности, такой подход следует признать правильной позицией романа Вано Урджумелашвили, одним из ярких проявлений дружбы между советским и немецким народами.

Возможно, эпизод, о котором речь пойдет ниже, в действительности не мог иметь место, особенно в 1941 году, когда обе стороны с особым ожесточением противостояли друг другу; в то же время нельзя не поверить и в то, что подобные эпизоды неизбежно должны были возникнуть и возникали на последующих этапах войны как внутренние психологические факторы, предопределившие поражение врага.

Я имею в виду сцену встречи двух раненых солдат — немецкой армии и Советской Армии — в первые же дни войны на приграничной поляне с кустами, исковерканными сражениями. Но лучше послушаем самого Вахтанга Кахабери — главного рассказчика событий.

«Откуда-то появился безусый немец, — вспоминает он при описании эпизода танкового наступления. — Как борцы, вышедшие на арену, мы кинулись друг на друга. И я что есть силы ударил немца штыком в грудь. Его крик потонул в треске автоматной очереди. Потом обеими руками он схватился за штык. И словно кто-то подставил мне ногу — я упал на землю. Думал, теперь немец выстрелит. Повернулся к нему голову и осталенел, потом весь передернулся от судороги, пробежавшей от макушки до ног... Кажется, моя жертва пристально глядит на меня, — продолжает рассказывать Вахтанг. — Неужели он жив? Да, кажется, жив! Широко открытыми глазами уставился на меня. Отчего же я раз волновался?! Ведь не пожалел его, обрек на смерть, потому что, не опереди я его, он убил бы меня. Так в чем же дело? Видно, в трудную минуту одинокого человека обнадеживает только присутствие другого человека; только это придает силы. Интересно, что у него в руке. Неужели пистолет? Нет! В руке у него не пистолет, а индивидуальный пакет, да пакет!... Удивительно! Будто и рукой машет... Опираясь на локоть, ползущую страшную боль заставляет остановиться: какое-то время лежу без движений. Боль утихает, и я вновь двигаюсь вперед, со стоном, криком, но все же медленно, точно червь, продвигаюсь дальше.



Погоди, что за черт. Кажется, он тоже ползет в мою сторону, только не заметно, но все же ползет. К тому же как жалобно стонет, кричит! Часто ~~она~~ ворит непонятные для меня слова. Кто знает, может, мать свою ~~зовет~~ просит помочь. И вот мы лежим на расстоянии вытянутой руки друг от друга... Немец — мой ровесник, может, и моложе. Жалобно смотрит голубыми как небо глазами, шевелит маленькими детскими губами, шепчет что-то непонятное, зовет, чтобы я подошел ближе».

Их сближение вроде «космического состыкования», нечто гиперболическое, невероятное. Но художественно эта сцена действенна, так как выражает гуманность советского человека, который был вынужден взяться за оружие лишь в результате вероломного нападения фашистского рейха на его великую Родину.

Так и лежат они рядом довольно долго, пока ночную тишину не нарушит звук человеческих шагов. Вахтанг думает, что приближаются немцы, которые помогут своему товарищу, а его убьют, и на этом все кончится. Но он отчетливо слышит голоса однополчан — Гигаури, Медзмиашвили, Сидорова и писаря артиллерийской батареи. Вахтанг уговаривает их не убивать раненного немца, который, скавшись от страха, непрерывно произносит два слова: «карбайтер, Тельман». И они оставляют его на поле боя, а потом, уложив Вахтанга в наспех сделанные носилки, отправляются обратно — на восток.

С тех пор прошло пять месяцев. Вахтанг выписался из госпиталя и снова вернулся на фронт, в свою батарею, которую уже не надеялся найти. На подступах к Москве в суровую зимнюю пору эта батарея вместе с другими частями готовится к наступлению. Вахтанг получил задание отнести на наблюдательный пункт две буханки хлеба и термос с едой. Он пошел вдоль телефонной линии, протянутой от огневой позиции до наблюдательного пункта, но под покровом снега в поле потерял эту линию, попал в зону вражеской артиллерийской подготовки и, заблудившись, к вечеру очутился на поляне около леса, из которого неожиданно появились вражеские лыжники. Преследуемый ими, Вахтанг, обогнув овраг, скрылся за сухим кустарником в воронке от бомбы, но «через две минуты немцы подошли к оврагу... потом спустились на лыжах вниз и окружили яму».

Вахтанг понимает, что обречен. Ему грозит плен или смерть. Но все обирачивается так, что он получает возможность продолжать свой путь. «Шел по пояс в снегу, сердце от усталости готово было выскоить из груди, но я не придавал этому значения. Хотелось петь, раскинув руки, обнять заснеженное поле». Кто же выручил Вахтанга? «Вдруг в моей памяти ожила воспоминания той ночи, — рассказывает он, — когда я и немецкий солдат, истекая кровью, лежали в одном окопе. Неужели это был он? — спросил я себя и тотчас же громко ответил: — Да, конечно, это был он, — и упрекнул себя, что сразу же не узнал его».

Зато немец, несмотря на ночное время, как будто сразу узнает Вахтанга и спасает его от гибели так же, как это сделал Карабери пять месяцев назад. Казалось бы, невозможно поверить в достоверность этих эпизодов. Они, безусловно, стоят на рельсах условности и гипотетичности, но в художественном и психологическом отношении настолько убедительны, с такой искренностью и непосредственностью переданы, что невольно солидаризируешься с добрым намерением писателя, с его далеко нацеленным идеалом гуманизма, свидетельствующим о политической прозорливости автора романа, приведшей его к интересному решению проблемы.

Конечно, это еще не значит, что в нем смягчены или в «уменьшенной дозе» показаны зверства фашистов, их жестокость. Для этого, кроме рассматриваемого произведения, достаточно и включенного в книгу одного из рассказов. Хотя бы даже такого, как «Холодное ложе». Читать его спокойно просто невозможно.

Но трагическое в романе как-то очень естественно сочетается с легким юмором, уравновешено характерными для солдатской жизни гротескными штрихами. Поэтому вслед за слезами и печалью на его страницах мелькают проблески улыбки как истоки оптимизма, как символ несгибаемости бойцов Советской Армии, как надежное средство против деморализации. В конечном счете все это концентрируется в образе Вахтанга Карабери, выявляется в его поведении, действиях, характере и этических нормах, окрашивая боевые эпизоды с участием этого персонажа не только героикой, но и шуткой. Этот обобщенный типичный образ советского солдата, выросшего на грузинской земле, сродни образу Василия Теркина. Он привлекает нас своим благородством и исконной народностью, самоотверженностью и правдивостью, твердостью духа и преданностью социалистической Отчизне.

В силу этих своих качеств он не раз выходит из окружения врага, неизменно сохраняя бодрость духа и внутреннюю чистоту. Один только выход из окружения в занятом врагом городе Калинине сколько говорит о его мужестве! А буквально сказочный эпизод переправы через Волгу? Или то, как, ~~попадая~~ ^{попадая} в лес, он ~~попадает~~ ^{попадает} в партизанов? А когда на Ленинградском шоссе благодаря папахе он выдает себя за военачальника и расчищает дорогу для наступавших с тыла войск? И как стоял на посту под Москвой в ночь, в мороз, в буран? Как участвовал в грандиозном наступлении первых дней декабря?

наступлении первых дней декабря! Во всех этих ситуациях, наряду с патриотическим чувством и несгибаемой волей первейшим источником вдохновения для Вахтанга Кахабери является искренняя и чистая любовь прекрасной русской девушки Наташи. Этот мотив придает композиции романа, его художественному построению своеобразное очарование. Санитарка Наташа, как и старший лейтенант Герасименко, капитан Ермаков, солдат Сидоров и другие персонажи, выведены как лучшие представители русского народа. Здесь воедино собраны представители всех народов. Рядом с Вахтангом живо и интересно обозначен образ наводчика орудия Гигаури.

Показывает писатель также паникеров и трусов. Среди них есть и грузин Медзмариашвили. Временные успехи немцев вселили в него растерянность, и он попытался, ранив себя в руку, попасть в лазарет. Но это его намерение раскрывается, и он, переделав фамилию, отправляется на передний край фронта, чтобы ценой крови искупить свою вину перед Родиной. А писарь батареи по приговору военного трибунала был расстрелян как предатель. Что ж, увы! И такие уродливые явления пусть редко, но имели место во фронтовой жизни первого периода войны. Обходить их молчанием означало бы изменить принципам правдивого отображения событий.

«Москва — единственная в мире» и включенные в книгу рассказы Ванно Урджумелашвили — вклад в дело правильного раскрытия всегда волнующей и актуальной темы Отечественной войны. Несомненно, по своим идейно-художественным достоинствам этот роман шаг вперед на пути творческого развития писателя.

Но все же создается впечатление, что он еще не закончен, что у писателя многое осталось недосказанным, что участие Каахабери в битве под Москвой в последующем нашем наступлении в соответствии с исторической действительностью требует дальнейшего продолжения его пути и что его фронтовая жизнь должна бы закончиться в Берлине новой встречей с тем немцем, о котором речь шла выше.

Если это мое предположение хоть в какой-то мере соответствует творческим планам автора и его дальнейшим намерениям, было бы желательно, чтобы он уделил больше внимания языковому совершенствованию произведения, очищению разговорной речи Вахтанга Кахабери от таких форм, которые иногда подменяют колоритность и народную интонацию вульгарными жаргонными выражениями. Хотелось бы также, чтобы не упускалась из виду эмоциональная сторона слова.

Приемом сравнения писателю нередко удается нарисовать точную картину даже, например, в таком простом предложении: «В длинном и узком, как буйволий язык, сарае тлела единственная лампа». Но есть в романе и такие выражения, которые явно затуманивают смысл. Можно привести также примеры использования неверных грамматических форм.

Отмечу еще один ляпсус. Командир артиллерийского полка маляр Марков обращается к выведенному перед полком для порицания Вахтангу Кахабери со следующими словами: «Рядовой Кахабери, прошу задуматься над своим поведением и сделать надлежащие выводы». В подобной ситуации не только командир полка, но даже командир отделения никогда не обратился бы к солдату в таком тоне. Слово «прошу» в данном контексте совершенно неуместно.

Эти замечания, указывающие на необходимость еще большего художественного совершенствования нового романа Вано Урджумелашвили, думается, не лишают меня права причислить его к разряду произведений, правдиво отображающих героическую эпопею советского народа.



Несколько слов в защиту литературного героя

В РЯД ЛИ какое-либо другое произведение зарубежной литературы последних лет вызывало столько споров и разноречивых толкований, как роман Айрис Мэрдок «Черный принц». Он явно отличается от всего, что было создано писательницей прежде — «Под сенью», «Алое и зеленое», «Дикая роза» (имеются в виду произведения, известные советскому читателю).

В процессе чтения этого романа возникает бесчисленное множество вопросов: почему «Черный принц»? Чем обусловлен выбор героев? Чем объяснить странность их отношений? Наконец, кто они — эти герои? Любит ли их автор? На последний вопрос не так просто ответить еще и потому, что весьма удачно найденный прием введения послесловий помогает читателю понять позицию четырех действующих лиц романа, занимаемую ими по отношению к главному герою Брэдли Пирсона, их отношение к многогранной и противоречивой сути его личности.

Эти характеристики Брэдли Пирсона столь же непохожи и странны, сколь неизвестны и удивительно противоположны они у авторов рецензий на роман «Черный принц» (см. «Литературное обозрение» № 3, 1975, «Новый мир» № 6, 1975).

В рецензии З. Гражданской «Черный принц, кто он?», опубликованной в «Литературном обозрении», Брэдли Пирсон представляется «орудием зла» всемогущих темных сил, личностью с «сверхчеловеческими притязаниями», отщепенцем, способным на преступление, человеком, не способным на высокие и тем более романтические чувства. Во многом это мнение опровергается текстом самого романа, послесловия которого сразу настораживают читателя. Возникает вопрос: зачем они понадобились автору? Ведь ни один из написавших послесловие не добавляет к сюжету ничего нового, а обвиняет Брэдли и показывает себя с наиболее выгодной стороны. И тут сразу бросается в глаза, какими убогими, жалкими и мелкими предстают перед читателем Кристиан, Фрэнсис

Марло, Рейчел и Джуллиан, когда, характеризуя Брэдли, они невольно в сущности говорят о себе.

И на фоне этих эгоистичных, лицемерных обывателей, до тупости уверенных в собственной правоте и исключительности, светлой и значительной выглядит личность Брэдли Пирсона, сумевшего в своем повествовании с присущей ему человечностью смягчить и благородить даже таких ничтожных людей, каждое слово которых — откровенное саморазоблачение.

В самом названии «Черный принц», безусловно, заключена символика, которую предстоит разгадать самому читателю.

Весь роман пронизывает преклонение перед Шекспиром. О нем здесь говорят, его героев судят, почитают и разбирают, в самые кульминационные моменты герояния «Черного принца» Джуллиан одета в костюм Гамлета. Однако при близкой и прямой аналогии Брэдли Пирсон вовсе не похож на датского принца. И тем не менее, думается, символика «Черного принца» связывается автором именно с Гамлетом.

Шекспироведы давно обратили внимание на то, что в произведениях великого драматурга весьма часто одна ситуация «зеркалится» другой, одно действие повторяет другое, но только в отношении иного героя, иных обстоятельств. Так, например, Гамлет и Лаэрт оказываются в схожей ситуации, перед ними стоят аналогичные проблемы, и Шекспир с предельной четкостью показывает, в чем разница суть их личностей при внешней схожести судеб.

И Гамлет и Лаэрт силою обстоятельств должны отомстить за смерть отца. Для Гамлета месть за отца — это борьба за рухнувшие нравственные устои, за нарушенный правопорядок («Распалась связь времен» — в переводе Б. Пастернака, «Век распахался» — в переводе М. Лозинского). Это борьба за попранные честь и достоинство, за восстановление справедливости. Сама месть осознается Гамлетом как неизбежная, высокая миссия, возложенная на него

волею судеб. Его нерешительность и колебания, как следствие понимания им своего нравственного долга не только перед умершим отцом, но и погрязшим в пороках миром, вызваны чувством осознаваемой им ответственности. Месть Лаэрта — это личная месть, в правоте которой он даже до конца не уверен.

Поэтому личность Гамлета — воплощение высшей справедливости. По словам Виссариона Белинского, «Гамлет велик и силен в слабости, потому что сильный духом человек в самом падении выше слабого человека в самом его восстании».

В «Черном принце» автором использована, если можно так выразиться, «система обратных зеркал», ибо роман — это повествование о судьбе двух людей — Брэдли Пирсона и Арнольда Баффина (по словам Брэдли, «вся эта история представляет собой в сущности историю моих с ним отношений и той трагическойвязки, к которой они привели»). Как образ Гамлета «зеркалит» образ Лаэрта, так личность Брэдли Пирсона противостоит Арнольду Баффину.

Оба они — писатели, оба достаточно известны и знамениты, оба принадлежат к той среде творческой интеллигенции, которая, конечно же, особенно близка самой Айрис Мэрдок. Характеры обоих героев очень достоверны и жизненны.

Творческая жизнь Брэдли Пирсона началась задолго до шумной карьеры Арнольда Баффина, начавшейся, кстати, с благословения Пирсона, одобравшего его первый роман. Пирсон за всю жизнь написал лишь два романа и сборник афоризмов, поэтому вынужден работать налоговым инспектором, зарабатывать себе на жизнь и обеспечить возможность свободно отдаваться творчеству.

В оценке человека определяющим является его отношение к делу (по словам Пирсона, «по-настоящему человек проявляется в долгой цепи дел, а не в кратком перечне самотолкований»).

Брэдли Пирсона отличает высокая принципиальность и требовательность к себе как писателю. Пирсон — понимает задачу писателя так, как понимал цели театра Шекспир — во «все времена» «держать зеркало перед природой, показывать доблести ее истинного лица и ее истинное — низости и каждому веку истории — его неприкрашенный облик...» (перевод Б. Пастернака).

Пирсон мечтает создать не просто книгу, которая понравится читателям, но высокохудожественное произведение, мысль и идея которого вынашивал всю жизнь («... я ни на минуту не отчаялся в своем стремлении к совершенству»).

Брэдли стремится проникнуть глубоко в суть происходящего, понять его истинную природу. Видимо, он представ-

ляет себя в роли своеобразного Гамлета, на плечи которого возложена задача восстановить «связь времен». По его словам, «Гамлет — это акт отчаяния и храбрости, это самоочищение, самоубийство, вание перед лицом бога».

Творческий процесс происходит в Пирсоне столь мучительно и медленно потому, что он не находит сразу формы для показа того, что он чувствует и хочет передать. В то же время он понимает сложность задуманного — осмысливать процесс и причины распада личности в современном мире. Поэтому со страниц романа перед нами предстает нерешительный, бесконечно сомневающийся во всем человек, безвольный и временами даже жалкий.

И здесь нельзя не учитывать тот социальный фон, на котором протекает жизнь Пирсона. Его трагедия — это трагедия творческой личности в буржуазном обществе, «обществе потребления», не приемлющем ничего индивидуального, выходящего за рамки обыденного.

Вместе с тем в характере Брэдли Пирсона не могут не проявляться его постоянная зависимость, обязанности в отношении других, неизбежно ведущие к тому, что у него нет выбора; его жизнь как бы протекает в замкнутемся кругу обычательской жизни. При всем своем желании Брэдли Пирсон не может оторваться от среды, в которой он вращается (и в этом — вся его нерешительность и безволие), а способен лишь безмолвно справляться с выпавшими на его долю трудностями («Хотеть — значит уметь выбрать. Уметь выбирать — значит уметь отказаться». Я. Седеборг).

Полная противоположность Пирсона — Арнольд Баффин. Он страшен уже тем, что типичен. Человек без принципов, приспособленец, угадывающий безошибочно, что может заинтересовать публику с низкопробным вкусом, и угощающий ей, он может взять сюжет своего романа из увиденного в замочную скважину. «У меня нет музы» — вот кредо Арнольда Баффина. Его не волнуют судьбы человечества, он не ставит перед собой никаких высоких целей, жизнь «в расшатанном веке» его вполне устраивает. Ничто святое Баффину не доступно, для него главное — это репутация в среде ему подобных. Поэтому он и не оставляет жену, хотя это — лицемерный союз без любви и, главное, без уважения (кстати, у Пирсона хватило сил и порядочности расстаться с женщиной, тиранившей его и не отвечавшей его духовным запросам).

В романе много женских образов, но всех их объединяют общие черты — бездуховность и неизменная бездеятельность, слепой эгоизм и удивительная ограниченность.

Убог и беден мир Присциллы — сестры Брэдли. Ее жизнь, как заведенного

манекена, раз и навсегда определена одним и тем же домашним миром. Рушится он — погибает Присцилла, ибо она как личность — ничто.

Казалось бы, второстепенные сюжетные герои, такие как Кристиан, муж Присциллы — Роджер и его любовница Мэриголд, в романе несут весьма значительную смысловую нагрузку. Рядом с мечущимся, неуверенным, своими поступками и мыслями не только не соотнесенным с реальной жизнью, но будто намеренно рассматривающим ее сквозь призму другого измерения Брэдли Пирсоном практичная и рациональная Кристиан, эгоистичные до тупости и глухоты Роджер и Мэриголд страшны уже тем, что, относясь «к сильным мира сего» (не столько по своему имущественному положению, сколько бесконечной уверенностью в правоте своих действий и поступков, в своем завтрашнем дне), они в стремлении достичь чего-либо могут перешагнуть через любые несчастья и даже смерть своих близких. При этом они вызывают неизменную симпатию окружающих (вспомните суд!) и будут полны искреннего недоумения, узнав, каковы они на самом деле.

Образ Рейчел — жены Арнольда Баффина особенно антиатичен. Лживая и лицемерная, злая и, мягко выражаясь, сверхпрактичная, именно она стала непосредственной виновницей трагической развязки судьбы Пирсона. Но только ли она? И почему так бесчеловечно расправились с Брэдли Пирсоном?

Каждый из окружающих Брэдли Пирсона знал и чувствовал его превосходство над собой. Он не лицемерил, не угодничал, не поступался принципами ради материального благополучия, не растратчивал свой талант на создание сомнительных второстепенных произведений. Общаюсь с людьми, он оставался одиночкой, возможно, в чьих-то глазах неудачником. Но никто из окружающих Брэдли Пирсона никогда не сомневался, что он способен создать ту главную книгу, о которой думал всю жизнь. А, как известно, обыватели не прощают превосходства над собой.

Общаюсь с людьми, Брэдли Пирсон пристально вглядывался в характеры. Он знал, на что способны опустошенные и низкие души, знал всю их неразборчивость в выборе средств для исполнения желаний, даже самых низменных (так Арнольд предлагает ему свою жену, задумав роман с Кристианом), их убожество и алчность, их человеческое несовершенство и слабости, примитивность их мышления и зачастую подлость. Исходя из их принципов, человек, который так много знает, должен быть уничтожен — так убийца уничтожает опасного свидетеля своего преступления.

Особое место в романе занимает история любви Брэдли и Джулитан. Я могу

только отчасти согласиться с Р. Орловой («Новый мир» № 6, 1975), что любовь к Джулитан обрушилась на Брэдли Пирсона как величайшее ~~благодарение~~ ~~счастье~~. Думается, эта любовь — плод фантазии Брэдли, синтез двух противоположных начал его натуры — человекобоязни и бесконечного страдания от одиночества. Убеждение Брэдли Пирсона, что каждый сам придумывает себе бога, в достаточной степени объясняет нам тот порыв прозрения, стремления к иной жизни, очищения и (наконец-то!) начала творчества, те бездонные надежды, которые возлагал Пирсон на любовь к Джулитан. При этом складывается такое впечатление, что выбор объекта любви не имел сколько-нибудь большого значения и на месте Джулитан могла бы быть другая женщина. И возможно, именно потому Джулитан — наименее колоритный из всех женских образов романа. Она, видимо, понадобилась автору лишь как звено в раскрытии трагического конца главного героя.

Связав свою судьбу с Джулитан, сделав ставку на любовь к ней, как на последнюю возможность найти самого себя («... моя способность любить ее — это и есть моя способность осуществляться, наконец, как художнику), Брэдли Пирсон нравственное неблагополучие своей жизни, глубоко скрываемое, вынес на неправедный суд окружающих, ибо неизмеримо увеличились точки соприкосновения его с другими людьми, которых Брэдли всю жизнь так боялся и тщательно избегал. «Ад — это другие» — знаменитое изречение Сартра, суть которого в полной мере пережил Брэдли Пирсон, полюбив Джулитан. Эта нелепая, абсурдная, в большой мере придуманная любовь, бессмыслиенная с любой позиции, привела в движение, как в театре марионеток, все те невидимые нити, которыми, увы, оказывается так прочно связан каждый человек, и в данном случае Брэдли Пирсон, с другими людьми окружающего его мира. Вместе с тем из глубины подсознания Брэдли Пирсона, как определяющее и главное, всплыло столь присущее ему чувство вины перед собой, перед другими, «общей своей вины в жизни», заслонившее все иные мысли и чувства, приведшие его к трагической развязке.

Здесь уместно сказать еще об одной стороне романа — его фрейдистской интерпретации. Как справедливо отмечают авторы всех рецензий, в своем романе Айрис Мэrdок откровенно иронизирует над примитивными истолкователями знаменитого учения Фрейда. Сексуальные влечения, приобретенные в детстве комплексы, пресловутый Эдипов комплекс — тот замкнутый круг причин, которыми объясняются обычно все и всяческие поступки человека.

Высмеивая столь примитивное толкование наиболее популярного на Западе учения, Айрис Мэрдок вместе с тем не только не отрицает его, но весьма отчетливо, с поразительной психологической тонкостью поклоняется ему, как, впрочем, очень многие западные писатели.

Брэдли Пирсон взял обвинение в убийстве Арнольда Баффина на себя, и это не что иное, как «изжитие своего чувства вины» по психоанализу Фрейда. По словам одного из героев романа «Дикая роза». — «праведная жизнь всегда бессознательна». Была ли праведной жизнь Брэдли в полном смысле этого слова? Вряд ли. Любовью к Джилиан им были нарушены не только приличия — этот «поведенческий язык светского общества», — но и все его связи с окружающим миром, ибо он осознал ответственность не только перед собой, но и перед многими другими. А разве не мерой ответственности определяется степень повторочности любого человека?

Суд над Брэдли Пирсоном — не только подводит итог всему случившемуся, но как бы расшифровывает суть личности героя.

В ходе суда не столько сводили счеты с невиновным Брэдли Пирсоном, сколько он свел счеты с самим собой («В жизни каждого человека бывают минуты, когда очищение виной ему необходимо... Я, сам того не сознавая, радовалась испытанию судом как средству окончательно освободиться от вечного чувства вины»).

Неудовлетворенность жизнью, непокидающее чувство измены природному дару (ведь Брэдли мог писать по-настоящему стоящие книги), вины перед собой, перед Джилиан, умершей Присциллой воплотились в молчаливом признании Брэдли Пирсоном своей «несуществующей вины», в его полном нежелании оправдаться. Чтобы спасти его, друзья объявили Брэдли сумасшедшем, суд использовал это состояние безумия, чтобы объяснять свершившееся.

Действительно, трудно считать поведение Брэдли Пирсона на суде поведением нормального человека, но... «в этом безумии есть своя система» («Гамлет»), своя закономерность, способ отказа от прежнего образа жизни и мыслей. Это безумие как бы от сознания, от заговорившей наконец-то воли. («Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь». В. Шкловский). Безумный поступок Брэдли Пирсона — акт запоздалой, подобно гамлетовской мести, но самому себе за беспечально и безвольно прожитые годы, за упущеные возможности. Это начало активного гамлетовского «самоочищения».

О судебном процессе рассказано в послесловии самого Брэдли Пирсона, и это, пожалуй, особенно яркие страницы, как,

впрочем, и все, что написано от лица самого Брэдли, в чем нельзя не согласиться с Кириллом Новальджи, автором рецензии «Брэдли Пирсон и остальные» («Литературное обозрение» № 3, 1975).

Здесь невольно возникает отдаленная аналогия с судом над Дмитрием Караваевым у Достоевского. Ведь Дмитрий Караваев тоже признал себя виновным в убийстве, так как постоянно чувствовал вину перед собой за «греховные мысли» об убийстве отца.

Сама Айрис Мэрдок неоднократно отмечала в своих работах, что Достоевский для нее был всегда наиболее почитаемым писателем, и в этом романе его влияние также ощутимо. Смердяковщиной несет от вездесущего, любопытного, нечистоплотного во всех смыслах Фрэнсиса Марло, всегда слишком много знающего о других, прикидывающегося жалким (хотя он жалок и в самом деле), но способного любую ситуацию использовать в своих интересах (вспомните его послесловие).

Да и в спокойствии Брэдли Пирсона, идущего в тюрьму, в его смирении, означающем для него «самоочищение», ибо в тюрьме он создал, наконец-то, книгу-исповедь, достойную таланта.

Героем этого романа будто рассматриваются не сквозь призму симпатий и антипатий автора, а добросовестно и скрупулезно, с излишним натурализмом обрисованы наблюдателем со стороны, хотя и не совсем бесстрастным.

Айрис Мэрдок не только не любит своих героев, кроме Брэдли Пирсона, но абсолютно безразлична к ним.

Это ее произведение воспринимается как экспериментальная лаборатория, где она по своему усмотрению и иногда весьма неожиданно распоряжается судьбами героев.

И как об одном и том же событии разные свидетели могут дать совершенно различные показания, так и разные читатели могут каждый по-своему, в силу своих представлений и взглядов, отнести ко всему тому, о чем написан роман «Черный принц». Это, безусловно, свидетельствует о сложности символовики, о многозначности и многопланности характеров героев, о большом мастерстве и таланте одной из видных зарубежных писательниц нашего времени.

Это роман о человеке сомневающемся и уверенном, талантливом и бездействительном, нерешительном и решившемся, о его несложившейся (пусть по его вине!) жизни. Об одиночестве среди людей. Его можно во многом обвинить, слишком во многом... И все же судьба Брэдли Пирсона не оставляет нас равнодушными, вызывает сожаление. Вот почему эту рецензию хотелось бы назвать: «Несколько слов в защиту литературного героя».

Игорь ЛЕЙБЕРОВ,
лауреат Государственной премии,
профессор



«ЯСОЧКА» — ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК РЕВОЛЮЦИИ

21 августа 1905 года Л. Н. Воронова, из Тифлиса — матери в Ясочку: «Познакомилась я здесь с грузинами. Производят они очень хорошее впечатление. Бывают такие люди, которые производят впечатление чего-то неземного тонкостью и нежностью своей нервной организации, что-то кристально прозрачное и вместе с тем нежное, мягкое. Прибавь к этому просто безумную отвагу и презрение к смерти и чисто южную горячность и вспыльчивость — и получится сочетание чего-то несочетаемого».

Наиболее успешно лесгафтики проводили революционную агитацию среди солдат 16-го гренадерского Мингрельского полка, казармы которого располагались на Авлабаре. Людмила Воронова проводила революционную работу как среди солдат, так и среди тифлисских рабочих.

Из воспоминаний Л. Н. Вороновой:

«...Я связалась с военно-пропагандистской организацией и начала намеченную нами (П. А. Джапаридзе, М. Г. Цхакая, Ш. З. Элиава.—И. Л.) работу среди солдат. Собирались мы в кукурузных полях и, расставив патрули, лежали на земле, тихо и долго беседовали о жизни, о казарменной каторге, офицерском мордобое, революции. И глаза солдат тоже вспыхивали тем же знакомым мне огнем пробуждающихся к сознанию рабочих... Иногда я принимала участие в массовой агитации среди рабочих. Мы поднимались на фуникулере на гору небольшими группами, потом шли по двое, по трое дальше в уединенные места. Там собиралось иногда много народа и агитация велась почти всегда на двух-трех языках (русском, грузинском и армянском)... Главной темой всех выступлений был призыв к всеобщей забастовке. Все прониклись сознанием, что она может встряхнуть самодержавие, дать толчок революции».

В тифлисском подполье Л. Н. Воронова, ее подруги работали под руководством выдающихся закавказских большевиков П. А. Джапаридзе, И. В. Сталина, М. Г. Цхакая, С. Г. Шаумяна. Память об этой работе, встречах, волнениях сохранилась у Людмилы Николаевны на долгие десятилетия.

В конце сентября 1905 года Л. Н. Воронова короткое время работала в аппарате «красного губернатора» Кутаиси—выдающегося ученого-агронома и революционера Владимира Старосельского. Еще в гимназический период он несколько лет воспитывался в семье своего дяди, известного военного, административного и общественного деятеля Кавказа Д. С. Старосельского, который долгие годы покровительствовал и дружил с Н. И. Вороновым. Знакомство со Старосельскими сохранило и второе поколение Вороновых. Юрий Воронов встречался с Владимиром Старосельским во Франции, внимательно следил за его научными трудами. И вот теперь в сентябрьские дни пятого года Людмила Воронова свыше двух недель пребывала в Кутаиси, встречалась, беседовала с

Окончание. Начало в №№ 2, 3.

В. А. Старосельским, В. К. и А. А. Маяковскими, Ю. Ф. Глушкиной, выступала на митингах, распространяла литературу.

Тамара вернулась в Тифлис, когда там шла полным ходом подпольная всеобщая стачка. С 15 октября главный экономический и политический центр Грузии был парализован мощным пролетарским выступлением. Дружный характер и огромный размах общегородской забастовки поражали не только ее участников, но и ее организаторов. В числе их была петербургская большевичка курсистка Людмила Воронова.

Она рассказывает в своих воспоминаниях:

«С первого же дня всеобщей забастовки в рабочих районах, за вокзалом мы — большевики начали организовывать многолюдные митинги. Их не разгоняли ни полиция, ни казаки, ни солдаты. Царские власти ощутили угрозу и силу народа — и растерялись. Сказывались и результаты нашей неукротимой большевистской агитации и пропаганды. На митингах мы выступали на разных языках — грузинском, русском, армянском и даже персидском, чтобы всех сплотить в едином революционном стане.

...Подняв над головами самодельные флаги из лоскутов красной ткани, мы все с рабочего митинга с песнями двинулись в город. Мы пели упоенно, радостно, полной грудью во весь голос на разных языках. Они сливались в один лиующий гимн нашей свободе. Мы могли петь эти песни, не ожидая удара, не прячась, не таясь — во весь голос.

И чем мы дальше двигались к городу, тем многотысячной становилась толпа, тем мощней звучали песни, торжественней звучали речи...

— Товарищи! Граждане! Братцы! Амханагебо! Энгернер!..

Сдавленное в течение сотен лет молчание вдруг прорвалось. Со стороныказалось, что в бесконечную даль лежит плотной стеной ковер из человеческих тел и голов, спаянных единственным желанием и волею... Я стояла застыла. Мне резилось, что эта бархатная лента голов с алыми полотнами тянется вдаль за тысячи верст до самого родного мне рабочего Питера...».

Деятельность группы Тамары в Тифлисе и Кутаиси — одна из замечательных страниц истории интернациональной дружбы русских и грузинских революционеров. Опыт революционного, боевого подполья, полученный в Тифлисе группой Тамары, затем был использован в Петербургском большевистском подполье.

В конце ноября 1905 года вся группа во главе с Людмилой Вороновой вернулась в Петербург.

Партийный центр направил Тамару на Выборгскую сторону. Ей доверили координацию революционных действий боевых дружин трех районов: Выборгского, Петербургского и Невского. Людмила буквально сбивалась с ног, падала от усталости, развозя по рабочим районам директивы партийного центра, оружие, патроны, листовки.

В доме Нобеля после ожесточенной схватки с полицией была арестована значительная группа большевиков и рабочих, среди них Л. Н. Воронова (Тамара), Д. А. Лазуркина (Соня). Они обе были увезены в дом предварительного заключения, а затем Тамара была переведена в групповую камеру пересыльной тюрьмы.

В те дни Людмила из тюремного заключения писала матери в Ясочку:

«Катится наша революция уже и за пределы России. И в Западной Европе все резче и резче начинает сказываться ее влияние... В великое и хорошее время живем мы, несмотря ни на что... Воевать приходилось много, дело доходило до баррикад в камерах и девичьего «вооруженного отпора», один раз чуть было не устроилась голодовка, но требования были удовлетворены в день ее объявления».

...В марте 1906 года Людмила вышла на волю. И вновь она все силы отдает революционному подполью. Эта весна была для нее весьма знаменательной.

Л. Н. Воронова вновь начала работу в большевистской ячейке курсов П. Ф. Лесгафта, которые с августа 1905 года были реорганизованы в Вольную высшую школу. Здесь на трех факультетах (естественном, педагогическом, историческом) занималось свыше 1.150 человек. При Вольной школе были созданы Коломенские вечерние курсы для рабочих, на которых ежедневно занималось не менее четырехсот питерских пролетариев. Занятия проводили революционно настроенные профессора П. Ф. Лесгафт, В. Л. Комаров, Н. М. Кипионович, С. И. Метальников, А. А. Рихтер, Е. В. Тарле. Лесгафт на преподавательскую работу пригласил в Вольную школу четырех известных революционеров-народовольцев — Н. А. Морозова (в советское время — академик, директор Начального института имени П. Ф. Лесгафта), В. Н. Фигнер, И. Д. Лукашевича, М. В. Новорусского. Это был прямой, открытый вызов царизму.

С сентября 1905 года помещение Вольной высшей школы превратилось, по словам В. И. Ленина, в постоянно действующий «революционный народный митинг». В октябрьско-ноябрьские дни здесь собиралось и митинговало до трех-семи тысяч человек. Наиболее популярными в Вольной школе были большевистские ораторы В. В. Воровский, В. Д. Бонч-Бруевич, А. В. Луначарский, Н. В. Крыленко, Е. Д. Стасова. В помещении школы, в квартирах под номерами 2 и 6 по Торговой улице, 25-а разместились Исполнительный комитет Петербургского Совета рабочих депутатов и правление профессионального союза печатников.

Со второй половины ноября 1905 года в помещении курсов П. Ф. Лесгафта (Торговая, 25-а и Английский проспект, 32) неоднократно появлялся, работал, выступал с речами В. И. Ленин. Вольная высшая школа с ее полутора тысячным революционным отрядом лесгафтовцев, с сильной большевистской ячейкой, боевой дружиной рабочих и студентов, революционно-демократически настроенным профессорско-преподавательским составом во главе с П. Ф. Лесгафтом создавала ту благоприятную обстановку, в которой В. И. Ленин мог более свободно общаться с работниками партии, рабочей и студенческой массой, чувствовать пульс революции. В период с ноября 1905 по май 1907 года в помещении Вольной школы вождь партии побывал не менее двадцати раз. Он неоднократно выступал перед большевистским активом Петербургской организации РСДРП, активом Петергофско-Нарвского и Городского партийных районов, Коломенского подрайона, большевиками и курсистками курсов Лесгафта, членами кавказского землячества, руководил кружком аграрников-марксистов.

В годы первой русской революции Вольная школа — курсы Лесгафта — явилась одним из центров Петербургского кавказского землячества. К концу шестого года в нем объединилось около пятидесяти студентов и курсисток-большевичек и сочувствующих им. В землячество входило не менее десяти лесгафтичек. Это они организовали транспортировку революционной литературы и оружия из Петербурга в Закавказье (Тифлис, Кутаиси, Батуми, Сухуми, Баку). Часть подпольной литературы направлялась по адресу: «Сухум — Кале. Село Цебельда. Имение Ясочка. Ее высокоблагородию помещице А. К. Вороновой». «Помещица» была матерью большевички-лесгафтички Людмилы Вороновой.

Основную работу по переброске оружия и литературы из Швеции — Финляндии (Гельсингфорс — Выборг) в Петербург, а затем в Закавказье осуществляли лесгафтические-кавказки Клавдия Александер, Людмила Воронова, Елена Кикадзе, Лидия Качаунова, Анна Чиргадзе-Шарашидзе. Помогали им грузинские студенты-большевики Шалва Элиава, Мамия Оракелашвили, Петре Кавтарадзе и другие. Всю работу координировал Миха Цхакая, который в начале октября пятого года приехал из Тифлиса в Петербург с целью закупки крупных партий оружия для грузинских боевиков. Когда в середине октября был создан Петербургский Совет рабочих депутатов, то в его состав под гром aplодисментов депутатов Совета ввели и Миха Цхакая как представителя грузинского пролетариата. Это было высшее признание революционных заслуг этого замечательного борца-ленинца и человека.

Кавказским землячеством очень интересовался В. И. Ленин, который в его деятельности видел один из каналов осуществления организационно-технических связей с большевистскими коллективами Закавказья. Трижды Владимир Ильич выступал перед членами землячества по вопросам тактики партии в революции, борьбы с влиянием меньшевиков, аграрной проблеме.

Лесгафтичка А. Е. Чиргадзе-Шарашидзе вспоминает: «Слушая Ленина, мы — молодые курсистки — думали, что готовы бросить все и всех и идти только за этим человеком, ибо то, что он говорит, это есть истина, это есть правда, это то, что нужно каждому человеку».

В январе 1906 года по указанию В. И. Ленина из Баку в Петербург была переведена подпольная партийная типография «Нина». Сюда же переехала и группа грузинских печатников-большевиков — Вано и Георгий Стурба, Авель Енукидзе, Сильвестр Тодрия, Вано Болкадзе и другие. Для них центральной явойкой и стали курсы П. Ф. Лесгафта¹. Здесь печатники познакомились с В. И. Лениным, неоднократно встречались с ним, выполняли его задания. Эта группа грузинских большевиков по заданию Владимира Ильича обеспечила печатание и выпуск легальных большевистских газет «Волна», «Вперед», «Эхо» весной — летом 1906 года, а с августа — газеты «Пролетарий» в подпольной типографии в Выборге.

¹ В воспоминаниях ряда старых грузинских большевиков (И. Ф. Стурба), в работах историков нередко курсы Лесгафта ошибочно называются курсами Лесснера.

Позднее И. Ф. Стуруа вспоминал: «...С Владимиром Ильичем мне приходилось видеться часто. Он приезжал почти каждый день в типографию («Дело».—И. Я.) на велосипеде, часов в 11 дня. Просматривал газеты, писал передовицы для нашей газеты («Эхо», потом «Волна»), беседовал с нами. Ильин очень интересовался положением дел на Кавказе и особенно тем, что там происходит в Грузии».

6. ЯСОЧКА ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

...Плотный, коренастый мужчина, одетый в скромный летний костюм заграничного покроя. Напряженное, нервное, смуглое лицо, окаймленное черной бородкой с усами. Остановившийся взгляд больших жгучих глаз человека безмерно уставшего, валившегося с ног от бессонницы, крайнего физического перенапряжения. В боковом кармане пиджака мужчина имел при себе подложный паспорт на имя «рыбинского мещанина Михаила Конкина». Вторую неделю подряд он беспрерывно мчался в курьерских поездах через Швейцарию, Австро-Венгрию, Галицию в русский черноморский порт Одессу, а потом качался в каюте третьего класса парохода, плывшего из Одессы в Новороссийск. И всюду — проверки документов, багажа, унизительное прощупывание одежды, придиличные полицейские опросы. Да, было от чего уставать, валиться с ног.

Неизвестный мужчина был ленинским специальным посланцем Михаилом Ивановичем Васильевым-Южным. Студент физико-математического факультета Московского университета, владевший тремя иностранными языками, один из руководителей Бакинской организации большевиков. Его и направил В. И. Ленин из Женевы в Одессу для установления быстройшей связи с восставшим экипажем броненосца «Потемкин». Но Васильев-Южин опоздал на несколько дней. Потемкинцы увидели броненосец в Феодосии, а затем в румынский порт Кюстенжи. Всего этого Михаил Иванович не знал и поэтому, получив пароль от одесских большевиков для связи с потемкинцами, на первом же пароходе выехал в Новороссийск, а оттуда в Батуми.

Позднее он вспоминал:

«Я предполагал, если бы не удалось захватить Одессу, направиться с «Потемкиным» к кавказскому побережью, прежде всего в район Батуми. Батумский гарнизон и крепость были основательно захвачены нашей агитацией. Это я хорошо знал. Батумские рабочие уже не раз выделялись своей героической борьбой... Батум как революционная база был наиболее надежным районом на всем Черноморском побережье».

В Батуми «Потемкина» не оказалось. Васильев-Южин немедленно покинул город: царская агентура напала на его след и могла вот-вот схватить.

По настойчивой рекомендации батумских большевиков Михаил Иванович тайно выехал в Сухуми, а оттуда в Цебельду, в Ясочку — имение Вороновых.

Этот район Васильев-Южин хорошо знал, его жена была уроженкой Сухуми, работала в местном революционном подполье. Здесь ее отец П. А. Добрынин, старый революционер-народоволец, поселился после сибирской казни и на берегу Черного моря создал свое фруктово-садовое хозяйство под названием Язон. Однако Язон находился под полицейским надзором, и ленинский посланец туда не поехал. Это был обдуманный шаг: жандармерия была сыта со следа.

Недельное пребывание в гостеприимной Ясочке (середина июля 1905 года) явилось для Васильева-Южина целительным. Полный покой и безопасность, усиленное питание, горный воздух, длительные прогулки в окрестных горах, внимание Александры Константиновны — хозяйки имения, медицинский надзор со стороны Веры Николаевны, курсистки Петербургского женского медицинского института — все это способствовало восстановлению сил, сняло страшную усталость у ленинского посланца. Но больше всего он был поражен обилием революционно-демократической и марксистской литературы в Ясочке.

Революция звала в бой, и через несколько дней поезд Тифлис—Москва увозил М. И. Васильева-Южина в Москву, где в декабрьские дни пятого года он стал одним из большевистских руководителей бессмертного подвига московских пролетариев.

Да, в период бурного пятилетия 1903—1907 годов Ясочка стала не только своеобразным почтовым ящиком революции, но и, очевидно, первым в истории российского освободительного движения массовым конспиративным «домом отдыха». По самым предварительным подсчетам, за десять лет (1903—1913) в Ясочке — имении Вороновых в Цебельде скрывались, лечились, отды-

хали не менее шести-восьми десятков революционеров-большевиков, пролетариев, студентов.

Вспоминая о роли матери в превращении Ясочки в «дом отдыха» для пролетареволюционеров, Л. Н. Воронова писала летом 1965 года писателю Борису Полевому:

«Находили приют в Ясочке партийцы ответственные и рядовые, больные и отдохвающие после тюрем и Сибири. Иногда количество «гостей», садившихся за стол, доходило до нескольких десятков. Но «гости» никого не тяготили. Продуктов натурального хозяйства было вполне достаточно: молоко, яйца, мед, виноград, фрукты, овощи — всего было так много, что не съедали, а продавать было некому... Все были сыты и довольны. Организовывались песни, хороводы, экскурсии, доклады, чтения подпольной литературы и систематизирующие занятия по программе для желающих. Устанавливались дежурства для приготовления обеда и стирки белья. Под развесистым орехом сдвигались столы и украшались цветами, а вечером зажигались садовые фонари. На председательском месте всегда сидела гостеприимная и с добром и ясной улыбкой хозяйка Александра Константиновна, умевшая с каждым найти подходящую тему для разговора».

Помимо Васильева-Южина в Ясочке бывали: Е. Д. Стасова — в сентябре—октябре 1906 года, высланная в то время после тюремного заключения из Петербурга в Закавказье и поселившаяся на пять месяцев в Сухуми; большевик-пролетарий завода «Эриксон» Т. Р. Мясоедов; большевички-лесгафтички К. А. Александр, В. В. Заorskaya, Л. А. Кацаунова, А. И. Мейбаум; большевик химик Н. Н. Простосердов; один из организаторов Сухумской организации большевиков Н. А. Лакоба и многие другие.

А вот текст из приписки к письму хозяйки Ясочки А. К. Вороновой от 11 августа 1905 года к революционным друзьям ее дочери Л. Н. Вороновой в Тифлис:

«Хорошие товарищи Тамары! Шлю Вам сердечный, душевный привет. Шло Вам своего изделия сорочки (они были из красного шелка.—И. Л.), но сите их на добре здоровье и на добрую память... Когда пожелаете или когда Вам необходим будет отдых — помните, что Ясочка всегда с радостью примет Вас как родных и в ней Вы найдете и тепло, и душу. Берегите Тамару — для дела работника, для матери дитя... Будьте во всем благополучны и да хранит Вас судьба от всяких бед».

Ясочка была удалена от Петербурга на многие сотни верст. Но находилась в относительной близости от крупных центров революционного движения Закавказья: Батуми — Тифлиса — Кутаиси — Сухуми. Поэтому большевистский центр в Петербурге через Л. Н. Воронову, ее брата, сестер, мать, подруг-лесгафтичек использовал Ясочку как один из нелегальных каналов связи, с закавказцами из столицы в Тифлис, Батуми, Кутаиси, Сухуми, а также и в Баку, Новороссийск, Екатеринодар пересыпалась революционная литература, часть шифрованной переписки, листовки, партийные директивы.

И что удивительно: за все пятнадцать лет функционирования Ясочки как почтового ящика революции ни царской полиции и жандармерии, ни их сыскным органам так и не удалось ни разгадать, ни раскрыть этого действительноного канала связи между Петербургом и Закавказьем. А ведь Ясочка одновременно была и «домом отдыха» для революционеров.

Невольно возникает вопрос: в чем же секрет такой прекрасной сохранности Ясочки, ее хозяйки — А. К. Прогульбицкой-Вороновой, значительного и ценного архива революции? Ответ на него не может быть однозначным. Обратим внимание читателя лишь на два обстоятельства.

Первое. В семье Вороновых, начиная от Николая Ильича и кончая Людмилой, были очень сильны традиции верности идеалам свободолюбия, бескорыстного служения делу революции, а отсюда — и сам необыкновенно высокий уровень революционного мастерства, практики и, главное, конспирации и бдительности.

Второе. Легальным прикрытием Ясочки и ее хозяйки служил родной брат Александры Константиновны — Владимир Константинович Прогульбицкий — в 1905 году жандармский полковник, начальник Сухумского полицейского скруга. Это был верный страж самодержавного режима. Только в феврале—марте пятого года грузинские революционеры дважды совершали на него покушения. И это, очевидно, в какой-то мере пошло на пользу делу — делу революции. В Ясочке не было полицейских обысков.

Но в то же время в семье полковника жандармерии В. К. Прогульбицкого в течение почти десяти лет воспитывался в качестве приемного сына Влади-

мир Константинович Ладария. Выдающийся сын абхазского народа, один из создателей и руководителей абхазской комсомолии в начале 20-х годов, один из руководителей Компартии Абхазской АССР в 30-х годах. В *партийной биографии* В. К. Ладария позднее напишет: «В 1908 году взял на военное поприще тение в Тифлис крестный отец полковник (В. К.) Прогульбицкий, который, подготовив меня, определил в кадетский корпус в Тифлис».

Одним из первых «революционных университетов» для юного Владимира Ладария была Ясочка, Имения А. К. Прогульбицкой-Вороновой и ее брата В. К. Прогульбицкого находились недалеко друг от друга. Здесь, в Ясочке, неоднократно в летние каникулы (в период 1913—1917 годов) и бывал Владимир, где вращался в кругу большевиков — Людмила Вороновой и ее мужа, Тараса Мясоедова, запоем читал революционную литературу, впервые узнал о В. И. Ленине.

Да, поистине неисповедимы пути развития российской революции. И ее одним из малозаметных, но верных опорных пунктов была Ясочка.

...Глубокой осенью 1907 года в Ясочке поселился бывший питерский пролетарий — большевик Тарас Мясоедов. Царским судом он был приговорен к восьми годам сибирской каторги. Но в один из дождливых осенних дней 1907 года он совершил дерзкий побег. Бежал на плоту по стремительной Ангаре. Больше месяца добирался до Петербурга. И однажды вечером, заросший, грязный, голодный, измученный и без документов, ввалился в квартиру Людмилы Вороновой. Он спал там двое суток. За это время Людмила и ее друзья собрали ему деньги, новые вещи и достали надежный паспорт на имя «мещанина Василия Ивановича Ерофеева».

По предложению Людмилы он, сбив усы и бороду, обрившись наголо, уехал в Ясочку и стал «управляющим» в имении Вороновых. Там он прожил десять лет: весной следующего, 1908 года Людмила и Тарас, дворянка и пролетарий, оба — большевики, стали мужем и женой. Их жизнь переплелась с судьбами русской революции, с историей нашей геронческой партии. Сохранились их письма, прекрасные своей чистотой, честностью и принципальностью.

Шесть долгих лет училась Людмила на статистическом отделении Петербургского политехнического института, который окончила с правами кандидата наук. Все эти годы она не покрывала с большевистским подпольем. Потом учительствовала. Вместе с Тарасом растили они двух дочерей. Людмила и Тарас стали борцами за Советскую власть в Абхазии. Т. Р. Мясоедов был одним из руководителей Гумистинского ревкома, активным членом Сухумской большевистской организации. В революционной работе ему помогала его друг и жена. Весной 1918 года Тарас уехал на Украину, в Одессу. Был членом Одесского ревкома, ревтрибунала и геройски погиб весной 1921 года в схватке с махновскими белобандитами.

А Людмила осталась в Ясочке с большой старенькой матерью и двумя дочерьми. И когда в начале марта 1921 года победоносная XI Красная армия вошла в Сухуми, Людмила Николаевна вместе с тысячами горожан восторженно приветствовала освободителей. Сорок лет своей жизни отдала Людмила Николаевна Воронова учительскому труду. Преподавала в школах Сухуми и Цебельды. Пропагандировала физическую систему П. Ф. Лестгейта среди абхазских, грузинских и русских ребят. Скончалась она в год пятидесятилетия Великого Октября.

Старший брат, Юрий Николаевич, посвятил свою жизнь науке — биологии, ботанике, работал с академиком Н. И. Вавиловым, изучал природу Закавказья, Средней Азии, Латинской Америки. Вера Николаевна была врачом, а Ольга Николаевна — преподавателем.

Третье и четвертое поколения Вороновых сберегли Ясочку, сберегли огромный семейный архив, библиотеку, комплект ленинской «Искры», большевистские листовки и др. И за это им огромное спасибо.

Ясочка — это памятник революционной дружбы русского, грузинского и абхазского народов. И она достойна стать народным историко-революционным музеем — филиалом Музея дружбы народов СССР, который недавно открылся в Тбилиси.





СВЕТ ПАМЯТИ

МОЕ ЗНАКОМСТВО с Николаем Алексеевичем Заболоцким произошло в том приснопамятном году, когда в журнале «Костер» из номера в номер печатался сделанный им для юношества перевод-переложение «Витязя в тигровой шкуре». Так что знакомство было вполне заочное и одностороннее, кстати, и по той причине, что тогда мне едва минуло тринадцать лет. Упоминаю же я об этом потому, что трепетно-влюбленное и уважительно-восторженное отношение к автору того, поистине волшебного русского пересказа великой поэмы возникло у меня именно тогда, получив лишь дополнительные подтверждения в дальнейшем, когда я уже стал зрелым читателем стиха, а тем более профессиональным литератором.

Познакомил же нас — в прямом смысле этого слова — в начале 1949 года Виктор Викторович Гольцев, одно имя которого олицетворяло в ту пору едва ли не весь комплекс русско-грузинских литературных взаимосвязей. «Грузин московского разлива», как он горделиво-щутливо говорил о себе, или «Витя в тигровой шкуре», как ласково пошутивали его друзья, стал в конце сороковых годов редактором альманаха «Дружба народов». В. Гольцев принял меня, начинающего литератора, на должность ответственного секретаря альманаха. В редакции же альманаха — тогда еще на Кирова, 18 — я увидел впервые Николая Алексеевича и воскресил в себе с новой силой все чувства к нему, с детских лет идущие и помиленные на поздние впечатления от апокрифических или, если угодно, ставших библиографической редкостью «Столбцов» и «Второй книги». Примерно к этому же времени, точнее, с 1947 года возобновились и грузинские дружеские и творческие связи Николая Алексеевича, возникшие еще в середине тридцатых годов. Однако я не был ни участником, ни свидетелем первой послевоенной поездки Н. А. Заболоцкого в Грузию — об этом прекрасно написал Симон Чиковани (мне довелось перевести на русский язык этот мемуарный очерк), об этом помнят, пишут и рассказывают Александр Межиров и грузинские друзья Николая Алексеевича.

В сорок девятом же году, о котором речь, Николай Алексеевич представал предо мною окруженный дружеской заботой Виктора Гольцева. В этой заботе он тогда нуждался. Уже месяцы сорок седьмого года, проведенные в Тбилиси и Сагурамо, в Доме творчества писателей, помогли Николаю Алексеевичу опправиться после первого, вслед за возвращением в Москву, года с неустроенным бытом и неналаженными деловыми и литературными связями, столь необходимыми для нормального творческого самочувствия. В Москве такую атмосферу создавали ему Н. Тихонов, Н. Степанов, В. Гольцев. Начать с того, что недавно возрожденный альманах «Дружба народов» был, как говорится, открыт для стихов и переводов Заболоцкого. А некоторые члены редколлегии альманаха (например М. Бажан) и виднейшие фигуры из его творческого актива (скажем П. Антокольский) были давними друзьями Николая Алексеевича, и они, вместе с Виктором Викторовичем, создавали ту обстановку «наибольшего благоприятствования», которую рьяно поддержали и в Грузии и которая

так была ему необходима. Виктор Викторович сразу же включил и меня в орбиту этих своих общественно-литературных интересов. В результате мне выпала честь одним из первых оценить сначала на страницах «Дружбы народов» а затем и в других органах прессы целый ряд переводов Заболоцкого. И когда в 1950 году я напечатал в «Новом мире» рецензию на недавно выпущенную в Москве под редакцией В. Гольцева и С. Чиковани антологию «Поззия Грузии», Николай Алексеевич остался доволен той краткой характеристической, которая была посвящена в ней его переводческому опыту и методу. Ему пришли по душе, как он сказал, точная и скратившая формулировка принципиальных установок, которых он придерживался и которые он сам собирался изложить в скором времени. Ныне мне эта характеристика кажется и слишком сухой, и слишком общезначимой, но тогда она, по-видимому, выглядела несколько иначе, хотя бы потому, что была чуть ли не единственной на рубеже сороковых и пятидесятых. И лишь в силу освещенности их похвалою самого Заболоцкого приведу я здесь эти несколько строк своего критического вывода: «Глубокое и всестороннее постижение творчества переведимого поэта, а также эпохи и литературной атмосферы, питавших это творчество, редкая добросовестность в сочетании с большим мастерством, то необходимое чувство меры, поэтический такт, который дает возможность переводчику, не становясь рабом подстрочника, сохранить вместе с тем идейно-образный смысл и поэтическую стихию произведения, — все это обеспечило Н. Заболоцкому большую и заслуженную творческую победу». Прочитав позднее «Заметки переводчика», опубликованные Николаем Алексеевичем в «Молодой гвардии», я убедился, что попал, как говорится, в точку.

Однако самые яркие воспоминания этой поры связаны у меня с выходом в свет русского перевода поэм Важа Пшавела, столь блестящее выполненного Н. А. Заболоцким. Как известно, появление этой книги совпало с печальным рецидивом вульгаризаторской оценки наследия Важа Пшавела, и Николай Алексеевич испытывал понятную тревогу по этому поводу. И я по сей день с чувством глубокого удовлетворения вспоминаю, что мне довелось тогда, откликнувшись на просьбу Николая Алексеевича, знавшего мои на этот счет взгляды, выступить соответственно и на публичном обсуждении этих переводов в Москве в Союзе писателей, и в периодической прессе того времени (в «Литературной газете», а более обстоятельно — в грузинском журнале «Мнатаоби»). Я бережно храню записку Николая Алексеевича от 14.VI. 1952 г., в которой он сообщал мне дату обсуждения книги: «Дорогой Георгий Георгиевич! Обсуждение книги Важа Пшавела назначено на 17 июня во вторник, в 8 ч. веч. Билет Вам пришлют. Очень прошу Вас, как мы договорились, принять участие в этом вечере. Вечер в клубе писателей, комн. 8». Вечер прошел триумфально. Мне предстояло как бы задать тон обсуждению, но я уверен, что впечатление, произведенное прочитанными самим Николаем Алексеевичем фрагментами из поэм Важа, было столь сильным, что перекрывало все возможные и невозможные опасения. Я, разумеется, выступил, выступали и другие. Среди присутствующих и «болеющих» был мой друг Гурам Асатиани, а выражение лица и тон выступления Семена Липкина до сих пор представляют-
ся мне образцом и примером поэтического, творческого и, я бы сказал, профессионального восторга, способного захватить мастера, «очевидящего», так сказать, победу коллеги и собрата. Кстати, свою большую — в два с лишним листа — статью о творческом подвиге Николая Заболоцкого, опубликованную через несколько месяцев в журнале «Мнатаоби», я заключил запомнившимся мне навсегда словами С. И. Липкина: «Заболоцкий постиг тайну пушкинского стиха! Грузинский титан звучит по-русски конгениально!».

Отклик мой на переводы Заболоцкого в «Литературной газете» появился 5 февраля 1953 года — во многом благодаря доброжелательному интересу, проявленному главным редактором газеты К. М. Симоновым, а в Грузии полный вариант статьи был напечатан в январском номере «Мнатаоби». Это совпало с моим окончательным возвращением в родной Тбилиси. А в середине мая 1953 года я получил такую открытку от Николая Алексеевича: «Дорогой Георгий Георгиевич! Тронут Вашим поздравлением, благодарю Вас. Вашу обстоятельную и деловую статью в «Мнатаоби» мне здесь перевели, и она, естественно, порадовала меня. В. В. Гольцев просит у меня перевод — хотят посмотреть в «Др. народов». Не можете ли Вы выслать мне «Мнатаоби» № 1? У меня нет. Очень хотелось бы поговорить с Вами по разным делам. Когда будете в Москве, прошу Вас обязательно позвонить мне и встретиться. Жму Вашу руку. Ваш Н. Заболоцкий».

Я поздравлял Николая Алексеевича с 50-летием, которое исполнилось 7 мая того — пятьдесят третьего — года. И я, разумеется, звонил и встречался с ним в каждый свой приезд в Москву. И мы, конечно, говорили «по разным делам». Особенно памятна мне встреча, которая длилась четверо суток и про-

исходила в вагоне поезда Москва—Тбилиси (в те времена путь этот был вдвое долог по сравнению с нынешним).

Но пока еще о моем московском 1952 году. Он был знаменателем для меня также и работой над небольшим сборником «Избранных стихотворений» Акакия Церетели, составить и редактировать который я был приглашен «Детгизом». Это было первое послевоенное издание классика грузинской поэзии, и ставилась задача своего рода «второго рождения» его в новых, преимущественно, переводах. Из прежних работ испытание временем выдержали лишь переводы П. Антокольского и отдельные удачи В. Звягинцевой. Остальное предстояло открывать русскому читателю заново. Н. Заболоцкий, Б. Пастернак, А. Кочетков, В. Державин и — молодые тогда — Н. Гребнев, И. Снегова, Е. Николаевская — уже этот круг привлеченных нами поэтов обеспечил успех издания. Успех этот во многом зависел и от правильного распределения лирических шедевров Акакия Церетели среди переводчиков с учетом того «избирательного сродства», которое порою возникает между оригиналом и поэтом-переводчиком, а если уж возникает, то ведет к явлению поэтического чуда. Так вот, «классическое самочувствие» Заболоцкого этой поры, столь счастливо оказавшееся не только в его стихах, но и в переводах из Григола Орбелиани, Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавели, определило лирический эффект церетелевских «Рассвета», «Сирели», «Юности», «Волнуйся, море», а блестящий опыт работы над переводом простонародно-городских стихотворений Орбелиани типа восточных по колориту и форме «мухамбазов» поддержал его в блистательном русском преображении церетелевского «Мухамбаза». Ныне восприятие и понимание поэзии Акакия Церетели русским читателем немыслимо без этих переводов Н. Заболоцкого.

...В поезде же Москва—Тбилиси и в Москве, на Беговой, в квартире Николая Алексеевича, речь шла, помимо всего прочего и главным, конечно, образом, о поэзии, о стихах, о поэтах, о переводах. Сейчас мне трудно восстановить в памяти, когда именно что говорилось. Но в поезде часто звучали стихи, из новых, частью вошедших в сборник 1948 года, а частью ожидавших встречи с читателем. Шла речь о поэтах — Пастернаке, Тициане Табидзе, Леонидзе, Чиковани. Мне стал понятен характер изменения некоторых пристрастий и оценок Николая Алексеевича, заметных, например, при сопоставлении стихотворения 1948 года «Читая стихи», где явно чувствовался отголосок давней, еще довоенной полемики его с «алогичной, темной речью» Пастернака, и стихотворения 1953 года «Поэт», прозвучавшего любовным и восхищенным лирическим раздумьем о нем же — в переделкинском слиянии с русской природой:

Черен бор за этим старым домом,
Перед домом — поле да овсы.
В нежном небе серебристым комом
Облако невиданной красы.
По бокам туманно-лиловато,
Посредине грозно и светло, —
Медленно плывущее куда-то
Раненого лебедя крыло.
А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,

Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Шурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет, —
Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.
А леса, как ночь, стоят за домом,
А овсы, как бешеные, прут.
То, что было раныше незнакомым,
Близким сердцу делается тут.

Открылись мне и некоторые «внешние» воздействия, поддерживавшие позицию Заболоцкого в 1948 году: к этому времени произошел разрыв между друзьями ранее Б. Пастернаком и В. Гольцевым. Последний обратился к поэту с личным посланием, представляющимся ему своего рода «письмом Белинского к Гоголю», и встретил резкий отпор и отчуждение со стороны адресата, не склонного внимать несколько прямолинейным назиданиям и поучениям. В эту же пользу, кстати, наступило и некоторое охлаждение в отношениях между В. Гольцевым и С. Чиковани. Не скрою, что я и сам поддался воздействию этого комплекса противостояний. К 1953 году многое изменилось. В частности, Николай Алексеевич вместе с Симоном Чиковани побывал в гостях у Бориса Леонидовича в Переделкине (приведенные выше стихи — отголосок именно этих впечатлений), читал там свои новые стихи из созерцательно-философских, вызвав у «собеседника сердца» дружелюбно-шутливую реплику: «Николай Алексеевич, да, оказывается, я по сравнению с вами — боец!». Об этом эпизоде рассказывали мне и Симон Чиковани, и сам Николай Алексеевич.

А раз уж мы коснулись дружбы Заболоцкого и Чиковани, дружбы много летней и на редкость — если об этом можно так неуклюже сказать — плодотворной, то я хочу, несколько забегая вперед, приоткрыть «завесу» над историей возникновения одного из лучших грузинских стихотворений Заболоцкого «Гомборский лес». Совершая как-то переход через Гомборский перевал, одина-

ково ослепленные и оглушенные красотою здешней природы, два поэта — по азартному предложению Заболоцкого — заключили пари или договор — написать об этом чуде стихи. Николай Алексеевич опередил Симона примерно на год — «Гомборский лес» подписан пятьдесят седьмым, а «Переход через Домбру» Симона Чиковани — пятьдесят восьмым годом. Думаю, не ~~сторону~~^{сторону} устоять, нять, кто выиграл пари, — в выигрыше осталась поэзия и выиграл читатель. И происхождение, и перекличка этих стихотворений редкий и чистейший образец сродства душ, слияния помыслов, настроенности на одну поэтическую и душевную волну — благородства этих душ в прямом и исконном — родословном — значении этого слова. И затем: таким единым порывом может быть охвачено только разное, но в этот час равновеликое. И уже одна неповторимость такого часа определила дальнейшую русскую судьбу стихотворения Симона Чиковани — его не должен был переводить сам Заболоцкий! Задачу эту позже с рядом артистизмом выполнил Александр Межиров — поэт и человек в равной мере близкий им обоим, проницательный очевидец многих их общений «на земном платоновском пиру». (Это выражение самого Межирова).

А оба стихотворения — прямое подтверждение реалистической достоверности самого что ни на есть условно-метафорического вспомоществования, настолько явственно светится в двух с безудержной фантазией выполненных картинах одна и та же благословенная реальность.

Вот облекает в строфы свои впечатления Николай Заболоцкий:

В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки о лете
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озаренье и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.

А Симон Чиковани как бы соревнуется с ним, откликаясь ему, а заодно и Гомборскому перевалу:

В три пополудни по тропе оленевой,
По горной тропке пробирались мы
И забрели в Гомборский лес осенний,
С столпотворенье хрупких светотеней,
Слепящих красок и кромешной тьмы.

...Гудели тихо суходолов ульи,
И плющ капризно задевал плечо,
И, как в жаровне тлеющие угли,
Потрескивали кроны горячо.

Хотелось гладить ствол ребристый граба,
С листвой в чащобах затевать возню,
Чтоб наши пальцы трепетали слабо,
Как от прикосновения к огню.

Переливались яркие подвески
Зажженных люстр, и лесу не спалось,

Отдавший первым свой долг Гомборскому лесу, Николай Алексеевич говорит от своего имени и о себе, где-то намеком поминая им самим же перевоплощенный недавно вожашавеловский образ («туманы — это размышление мгучих гор, седой венец их человечности»), предвосхитивший нынешнюю строку о себе — «я стал размышлением каменных скал»; а Симон Чиковани, втоляя ему, считает нужным указать и на присутствие спутника-друга и начинает свое живописание как бы от имени двоих («пробирались мы», «забрели в лес», «наши пальцы трепетали слабо») и лишь затем сосредоточивается на своих

Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белыл,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в
Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и
трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался первной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал.
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал...

И свет струился нестерпимо резкий,
Кустарники пронизывая вкось.

Гомборский лес готовился к молебну,
Чего-то ждали ветви и стволы.
А мне казалось — навсегда ослепну,
Не выберусь вовек из этой мглы.

Перед лесной, задбренной протокой
Я замирал над медленной водой,
Мечтая о фиалке одинокой,
О зелени иорской молодой.

И в грозно бронзовеющем убore,
На склоне вечерающего дня,
Пылал мятежным факелом Гомбори,
Испепеляя красотой меня.

единоличных ощущениях. И если это «единоличное» уводит мысль Чиковани от гомборского буйства, как бы по контрасту, к более близким его натуре «финальке одинокой» и «зелени иорской молодой», то перед Заболоцким оно мгновенной вспышкой высвечивает «эрмитажные» видения Рембрандта — уже по смежности ощущений.

...О чём же еще были эти беседы — разные по времени, но слитные в памяти?

Где-то пораньше Николай Алексеевич, придавая особое значение своей работе над переводами из Важа Пшавела, с благодарностью подчеркивал, что редактор его книги выдающийся грузинский ученый и тонкий литератор П. И. Ингороква помог ему, вопреки существовавшим предрассудкам, утвердиться в решении перевести ряд поэм Важа Пшавела четырехстопным ямбом. Тем самым окончательно была отброшена догматическая и нетворческая концепция обязательной эквиритмии в переводе с поисками всевозможных искусственных метрических схем, якобы близких ритму грузинского стиха. Установка эта в свое время во многом повредила сборнику «Грузинские романтики», вышедшему до войны под редакцией А. Федорова. Неплодотворной оказалась и бытовавшая в двадцатых-тридцатых годах ориентация в переводах Важа Пшавела на стихотворные формы русского фольклора. В редких случаях все эти схемы преодолевались силой таланта поэта-переводчика, но дополнительные затраты творческой энергии явно были направлены на взятие искусственно воздвигаемых препятствий. В те времена шли поиски путей и неверные шаги были не только допустимы и возможны, но и неизбежны. Недаром даже поэт такого тонкого чутья, как Тициан Табидзе, вполне одобрил в свое время выбор Заболоцким для перевода «Алуды Кетелаури» Важа Пшавела чуть ли не былинного белого стиха, а Виктор Гольцев даже в конце сороковых годов весьма настороженно отнесся к четырехстопному ямбу в применении к грузинским переводам. И вот Заболоцкий — случай редкий в переводческой практике — заново переводит того же «Алуду Кетелаури», без оглядки не только на старые теории, но и на свою собственный старый доводенный перевод, и достигает едва ли не самого блестательного успеха во всей своей переводческой работе. И Николай Алексеевич рад был лишний раз услышать подтверждение правоты своих новых принципиальных установок в этой области. Правда, позднее, работая над новым полным переводом поэмы Руставели и, несомненно, добившись самого значительного по сравнению с другими результата, он сознательно не решился нарушить неизъяснимую традицию хореического перевыражения поэмы Руставели, хотя, как мы знаем, уже в переводах Важа Пшавела дерзнул тот же — по метрической схеме совпадающий с русским хореем — шарни перевести четырехстопным ямбом. Не нарушил он и традиции четырехкратной рифмовки — согласно оригиналу — руставелевской строфы, хотя признавался мне, что из старых переводов предпочитает другим перевод Г. Цагарели, где была применена система перекрестной рифмовки, более естественная для русского стиха. Я и в данном вопросе в беседах с Николаем Алексеевичем исходил из его же опыта и был склонен поощрять большую свободу переводчика в решении задач чисто версификационных, дабы творческие усилия его в еще большей мере были приложены к сфере глубинно-поэтической, к области выразительности и «внутренней формы» стиха. Я, собственно, высказывал им же самим выработанные и творчески выстраданные суждения, но в случае с «Витязем в тигровой шкуре» Николай Алексеевич не считал возможным торопиться с перерешением кардинальных вопросов («потому что еще не пора» — мог бы он сказать словами поэта); он пока еще считал нужным придерживаться господствующей точки зрения — слишком прочна была традиция и слишком особое было отношение на родине Руставели к «Витязю в тигровой шкуре», чтобы прежде всего экспериментировать даже в области «внешней формы». И он мог бы ответить мне одним из пунктов своих же «Заметок переводчика»: «Откуда ты взял, что творчество переводимого тобой поэта пожаловано тебе в виде пожизненной вотчины? Шекспира переводили десятки раз и будут переводить не меньше. Успех перевода — дело времени; он не может быть столь же долговечен, как успех оригинала». И он ссылался на то, что сам же два раза перевел «Алуду Кетелаури» и вот во второй уже раз взялся за перевод «Витязя в тигровой шкуре».

Удивительно интересны были его рассуждения о грузинских классиках. Я не стану на этом задерживаться, так как главное им самим изложено в статьях о Руставели и Давиде Гурамишвили. Да и я в одной из основных своих работ о Заболоцком еще в 1958 году уделил сколько-нибудь внимание внутреннему «лирическому» контакту поэта-переводчика с лирическими героями великих грузинских поэтов разных эпох.

...Однажды разговор зашел о стихотворении 1957 года «Казбек». Оно очень точно передавало отношение Николая Алексеевича к определенным ис-

торическим событиям и, так сказать, к роли той или иной личности в истории. Как всегда у Заболоцкого, здесь не было фельетонно-публицистического решения темы и стихи поднимались до высокого философского обобщения. Это было истинно поэтическое воплощение философии истории, нравственного человеческого смысла исторического деяния. Обобщение было так глубоко и емко, что могло обнять любой отрезок истории или любой ее сюжет, по нравственному своему смыслу подходящий для этого обобщения. Для меня оно удивительно перекликалось со стихотворением Галактиона Табидзе этой же поры «Народ», конечно, не известным Заболоцкому. Но в нашем разговоре мы остановились на другой, еще более явной и на этот раз вполне преднамеренной перекличке «Казбека» с образом того же Казбека в «Записках проезжего» Ильи Чавчавадзе. Вспомним: «Он величав, безмолвен и спокоен, но такой холодный и белый облик его изумляет меня, но не трогает, повергает в холод, а не согревает. Одним словом, это ледник. Казбек во всем его величии — потрясает, но любить его невозможно. К чему же мне тогда его величие!.. Мирские бури и вихри, мирские невзгоды и радости не отразятся на его высоком челе... Не люблю я ни такой высоты... ни такой неприступности. Да благословит бог все тот же безудержный, безумный, шальной, неистовый, непокорный мутный Терек!.. Мне, сыну своей страны, милее образ Терека...». И перелистаем теперь Заболоцкого:

С хевсурами после работы
Лежал я и слышал сквозь сон,
Как кто-то, шальной от дремоты,
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала
Заря, и, закованный в снег,
Двуглавым обломком кристалла
В окне загорался Казбек...

...Земля начинала молебен
Тому, кто блестал и царил.
Но был он мне чужд и враждебен
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,
Скопленье домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

А он в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,
Внизу, из села своего,
Лишь мельком смотрели хевсуры
На мертвые грани его.

Сколько спокойной, несуэтной мудрости в этих стихах и сколько проницательного благородства в этой благодарной умной оглядке на Илью Чавчавадзе, лучшим переводчиком которого, кстати, был и остается Николай Заболоцкий.

Особую радость доставляло нам, слушателям, чтение самим Заболоцким не только своих переводов, но и фрагментов оригинала на грузинском языке. Грузинским языком Николай Алексеевич не владел, но он владел грузинским письмом и мог читать довольно свободно и знал наизусть большие куски из Руставели, Гурамишвили, Важа Пшавела. Читал он, четко скандируя и получая явное удовольствие от соприкосновения с иноязычной матерierой стиха и от самой демонстрации своих возможностей. Тут он часто улыбался своей невозможностью и в которой участвовали и губы, и глаза, и все лицо, и даже сам голос поэта!..

Я уже упомянул выше, что избирательному интересу Заболоцкого к грузинской классике я посвятил специальную работу. Здесь я лишь добавлю, что особыми симпатиями Николая Алексеевича пользовались, по его же ~~же~~^{же} ~~же~~^{же} словам, руставелевский Автандил и важдапшавеловские Алуда, Миндия и Агази.

Об Автандиле и Миндии он говорил, что они опередили его в братании с природой, Алуда восхищал его верностью «голосу сердца», что ставило его выше любых религиозных или национальных догм и предрассудков, а с героиней «Гостя и хозяина» Агазой он в одну из последних наших встреч (наверное, уже в 58-м году) неожиданно сравнил самого дорогого в жизни человека — свою жену Екатерину Васильевну.

Дом Заболоцких — квартира на Беговой — поистине «приют спокойствия, трудов и вдохновения». Московское хлебосольство, скрещенное с грузинским гостеприимством. И тут я не могу удержаться, чтобы не оспорить одну деталь в воспоминаниях Николая Корнеевича Чуковского, утверждавшего, что из красных грузинских вин Николай Алексеевич отдавал предпочтение «Телиани», смею утверждать, что любимым вином Николая Алексеевича было «Мукузани»!

...Именно бутылки «Мукузани» ставились на стол одна за другой и в тот день, когда мы с Симоном Чиковани и Александром Межировым были в гостях у Заболоцких на Беговой, и едва ли не в последний раз. Это совпало с трудной полосой в личной жизни Николая Алексеевича. Происходило, как сказал бы Герцен, «кружение сердец», в итоге еще больше сплотившее эту чудесную семью (есть об этом прекрасные стихи у Григола Абашидзе); но в тот день настроение и состояние Николая Алексеевича было драматически напряженным, и надо обладать пластическим даром большого художника, чтобы передать все увиденное и услышанное в тот день. Увы, я в этом беспылен, Симона уже нет, и я могу уповать лишь на память, слух и талант Межирова. Но, быть может, упоминание двух особых деталей осветит хоть часть картины. Николай Алексеевич начал проигрывать пластинку с записью «Болеро» Равеля. Мы все сидели за столом — за «Мукузани». Пластинка проигрывалась до конца, а Николай Алексеевич все ставил ее заново, и так несколько раз, нам же казалось — без конца. И сам по себе бесконечный круговорот равелевского ритма, круговращение «скучного и печального» «напева волынки», трагически подчеркнутое вдруг на наших глазах Николаем Алексеевичем, создавало атмосферу до такой степени накаленную внутренне, что выхода, казалось, из этого замкнутого круга не было. Этот выход нашел сам Николай Алексеевич, вдруг откуда-то незаметно достав книжку Бунина и от начала до конца прочитав нам, завороженным, околованным, онемевшим, потрясенным, небольшой рассказ «Ида». И так же, как «Болеро», эта «Ида» приобрела какой-то дополнительный щемящий и пронзительный смысл, то есть не приобрела, конечно, а открыла таявшуюся в себе до поры силу — будто некий светильник включили в сеть с удвоенным вольтажем.

Как мне передать это непередаваемое чтение? Переписать весь рассказ Бунина и сопроводить текст нотными знаками? Ферматами, глиссандо, форте и пиано? Пусть об этом напишет стихи Саша Межиров. Это в его власти. Или теперь пусть сам Бунин приподнимет, под занавес, покров хотя бы с уголка этой вечеринки:

«...Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И сам он ответил себе:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди нелепого жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала — и ушла. И тем вся эта история кончилась. И вообще довольно об этом, — вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой...

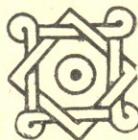
...А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-

за крыши ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!»

...Не прошло и года после Декады грузинской литературы в Москве, превратившейся, кстати, и в триумф переводов Николая Заболоцкого, как Россия потеряла одного из крупнейших своих поэтов, а Грузия — великого своего друга. В те годы еще не были в обычae многолюдные похороны, и провожавшие Николая Алексеевича в последний путь грузинские его друзья и почитатели были явно заметны в малочисленной процессии. Прилетели из Ленинграда Вадим Шеффнер и Ольга Бергольц (как описать ее — в слезах — лицо!). Я на всегда запомнил Бориса Слуцкого, с солдатской обязательностью и преданностью взявшего на себя все деловые хлопоты и как бы несущего вахту... Грузинскую писательскую семью представляли Бесо Жgenti и я. Вот передо мною и телеграмма Георгия Леонидзе — с просьбой заказать венки от его семьи и от Института истории грузинской литературы им. Шота Руставели. Помнится, Бесо Жgenti произнес на могиле взволнованную речь. Я первый раз в жизни поцеловал покойника. Так это было 14 октября 1958 года. Но и с тех пор неразлучен с нами Николай Алексеевич Заболоцкий. 21 ноября 1961 года в Малом зале ЦДЛ (уже в новом здании) состоялся вечер, посвященный творческому опыту Н. Заболоцкого. Председательствовал его друг и сподвижник Павел Григорьевич Антокольский. Мне была предоставлена честь выступить с докладом «Творческий подвиг Н. Заболоцкого». На вечере прекрасно выступили друзья и коллеги Николая Алексеевича — М. Зенкевич, В. Каверин, М. Квлизидзе, Н. Любимов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, И. Степанов, Н. Чуковский. Жаль, что не велось стенограммы.

...Он живет в сердце каждого читающего грузина. В Грузии о нем пишут исследования и диссертации, ему посвящаются радио- и телепередачи. Чудесные стихи посвятил ему Григорий Абашидзе. Недавнее посмертное присуждение ему национальной Руставелевской премии символически выразило меру благодарности и любви грузинского народа к своему русскому Автандилу — багоднейшему другу и побратиму, рыцарю поэзии и рыцарю дружбы.



ИЗВЕСТНЫЙ ориенталист, учёный, посвятивший всю жизнь изучению культуры и истории любимой родины, отдавший много энергии делу их популяризации вне пределов своей страны, а главным образом, в широких кругах русского общества, Александр Соломонович Хаханашвили был одним из немногих пионеров грузиноведения, который впервые применил методы европейской науки к разработке вопросов истории и литературы Грузии. Именно он явился первым исследователем истории устных и письменных памятников грузинской литературы.

Его капитальный четырехтомный труд «Очерки по истории грузинской словесности», изданный Императорским обществом истории и древностей российских при Московском университете и представляющий собой обзор памятников устной и письменной литературы Грузии с древнейших времен до начала XX века, стал настольной книгой для каждого, кто хоть в малой степени интересовался прошлым грузинского народа и его культуры.

Уроженец Гори, питомец Первой Тбилисской мужской гимназии, А. С. Хаханашвили с отличием окончил историко-филологический факультет Московского университета, где в качестве приват-доцента с 1900 года читал лекции по грузинской истории и литературе. Уже первые его печатные труды «Следы народной поэзии в грузинской летописи» и «Крепостное право в Грузии до присоединения ее к России» убеждали в истинном призвании их автора, выявлили в нем одного из лучших воспитанников Московского университета, ученика профессоров Герье, Виноградова, Ключевского, Миллера.

За свою недолгую жизнь (1864—1912) Александр Соломонович создал более 180 работ по вопросам литературы, истории, археологии, педагогики, этнографии и т. д.

По словам академика И. А. Джавахишвили, «научная работа А. С. Хаханашвили в Москве, в результате которой русское общество получило возможность свободно разбираться в вопросах грузинской культуры, основательно укрепила фундамент, заложенный его славными предшественниками — царевичем Вахуштием, царем Вахтан-

гом, профессором Серебряковым (Окромчедлишвили) и другими. Это та научная школа, которая зародилась в Москве и ждет своих будущих деятелей, как это было в древних центрах грузинской научной мысли вне пределов Грузии — в Палестине, на Синае и Афоне».

Отдал народу всё...

Одновременно с А. С. Хаханашвили, работавшим в Москве в качестве профессора Лазаревского института восточных языков и приват-доцента университета, в Петербурге на поприще кавказоведения подвизался и другой крупный учёный — профессор Н. Я. Марр. Оба этих учёных как две звезды светили своей родной Грузии из двух славных центров русской научной мысли одновременно и с одинаковой интенсивностью. Как известно, А. Хаханашвили первым из грузинских учёных открыл двери храма науки грузиноведению как определенной науке. Именно эти два крупных учёных продвинули вперед понятия о культуре и истории нашего народа, народов всего Кавказа в широкие круги русского общества и даже далеко за пределы России, на мировую арену.

Имя профессора А. С. Хаханашвили впервые стало известно мне еще в бытность учеником старших классов Кутаисского реального училища в 1905—1906 гг. благодаря его очень популярным в то время «Очеркам». Ими зачитывалась молодежь, захваченная шквалом национально-революционного движения. Прочесть и основательно изучить этот труд среди учащейся молодежи было в то время делом чести каждого, считавшего себя образованным и зрелым революционером.

Книги эти лихорадочно переходили из рук в руки, из кружка в кружок, вовлекая молодежь в ряды убежденных борцов за интересы народа.

Не мудрено, что, впервые приехав в Москву осенью 1906 года и став студентами столичного университета, я и брат-близнец Григорий сошли своим долгом явиться к уважаемому профессору-земляку и, засвидетельствовав свое и всей кутаисской молодежи высокое уважение автору «Очерков по истории грузинской словесности», рассказать ему о житье-бытие этого уголка его родной Грузии.

Профессор остался очень доволен посещением молодых земляков и просил в будущем бывать у него запросто, тем более что комната нами была снята недалеко от его квартиры. С этих пор мы стали бывать у дорогого учителя, встречаясь с ним также и в университете на его лекциях по кавказоведению.

Я живо помню привлекательную наружность А. С. Хаханашвили, его худую, небольшого роста, слегка склонную фигуру, симпатичное, одухотворенное лицо с черной бородой и зачесанными назад густыми волосами, с черными как смоль выразительными глазами под золотой оправой очков.

Жил профессор скромно, в Брюсовском переулке, между Б. Никитской и Тверской (ныне улицы Герцена и Горького), недалеко от редакции «Русских ведомостей». Квартира его на третьем этаже состояла из двух больших комнат, сплошь заставленных книгами. Вообще, входя к нему, можно было заметить, что все богатство хозяина квартиры — это его большая библиотека.

Как известно, А. С. Хаханашвили был большим патриотом Кавказа, убежденным сторонником объединения прогрессивных сил всех национальностей. И любимую свою библиотеку, богатую весьма редкими книгами на многих языках, особенно по кавказоведению, он завещал Лазаревскому институту восточных языков (ныне он находится в Ереване).

Александр Соломонович был человеком необыкновенной трудоспособности: читая лекции по грузинской истории и литературе в Лазаревском институте восточных языков, а в Московском университете, кроме того, и по кавказоведению, он одновременно являлся преподавателем русской словесности в старейшем учебном заведении Москвы — Первой женской гимназии; он состоял также членом редакции газеты «Русские ведомости», сотрудничал в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Вестник всемирной истории», «Этнографическое обозрение» и

других, а также писал статьи о Кавказе и его деятелях в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрана. Не оставлял А. С. Хаханашвили внимания и грузинские газеты *«Национальные науки»*, в которых также помещал свои статьи.

Трудно было застать Александра Соломоновича не за книгой. Чаще всего он писал какую-либо очередную научную работу или журнальную статью, оторваться от которой без серьезных оснований было не в его натуре.

Он был большой домосед и вечерами не любил выходить куда-либо, если только это не было научное заседание или поход в театр. Не любил Александр Соломонович бывать на пирушках, даже у друзей. А потому немало были мы удивлены, когда к нам на квартиру заехал как-то раз наш земляк А. Ломадзе, прося быть на его свадьбе: он предупредил, что там будет и профессор А. С. Хаханашвили, выразивший просьбу, чтобы я заехал за ним.

Как мы узнали впоследствии, согласие приехать на эту свадьбу им было дано с большим трудом и только после того, как он узнал, что там будем и мы. А нам он доверял особенно.

В гостях народу было много, особенно девушки, которые так и кружились вокруг «молодого интересного ученого» (к тому же холостого!). Было весело и интересно. Но Александр Соломонович был глух ко всему. Он сел за стол рядом с нами, не ел и не пил и только молча наблюдал за гостями. Не привыкшему бывать на пирушках, больше всего на свете любящему работать за своим письменным столом в тихом рабочем кабинете, ему не сиделось в шумной компании; так и тянуло к себе домой, к привычной работе: И он не успокоился, пока не уехал, как только это позволил этикет.

Разумеется, я не хочу сказать, что профессор А. С. Хаханашвили жил анахоретом и чуждался общества; но бывать он любил только среди близких знакомых и то по возможности в деловой обстановке. Любил не отрываться от работы, но в случае необходимости, если требовалась какая-либо помощь, тем более деловая, а особенно кому-либо из учащейся молодежи, он искренне готов был жертвовать любым временем. На лекциях держался очень скромно, читал свой курс с увлечением. В отношениях со студентами был ровен, мы никогда не слыхали от него ни одного резкого слова.

Александр Соломонович был очень отзывчив на все доброе, на любое культурное начинание, особенно если оно касалось Грузии и ее культуры. В сво-

ем юношеском рвении сделать что-либо полезное в области расширения сведений о нашей стране среди самых широких слоев русского общества я и брат решили перевести на русский язык несколько образцов грузинской художественной литературы, о которой в те времена в названных слоях имели довольно туманное представление. Но ведь переводы надо было напечатать, и к тому же не в каком-либо толстом дорогостоящем журнале, а где-либо в более доступном самым широким слоям народа издании.

Узнав об этом, Александр Соломонович с радостью обещал нам сделать все ему доступное для реализации нашего замысла. И действительно, несмотря на занятость, хотя и не скоро и с довольно большим трудом, он все же добился издания переводов в издательстве «Польза». Под его редакцией и с его предисловием разновременно были напечатаны «Рассказ нищего» («Разбойник Габро») И. Чавчавадзе, «Баши-Ачуки» А. Церетели, «Элисо» и другие рассказы А. Казбеги. И что очень важно — все они были изданы отдельными книжками, весьма доступными для самых широких слоев русского населения, и за короткий период времени выдержали по несколько изданий. Эти книжки грузинских писателей, впервые дошедшие в силу своей доступности до самых отдаленных уголков тогдашней России, принесли огромную пользу делу расширения сведений о Грузии и ее литературе, укрепления русско-грузинских культурных взаимоотношений. И за все это, а также, конечно, и за многое другое, мы воздаем должное Александру Соломоновичу Хаханашвили, который так беззаботно был предан интересам своего народа и твердо верил в его светлое будущее.

Еще один характерный факт. В 1910 году, после возвращения из Ясной Поляны, куда мы с братом ездили вместе со многими студентами московских вузов на похороны Льва Николаевича Толстого, мой брат Григорий описал свое впечатление от поездки и прочел его на заседании студенческого литературного кружка. Когда это стало известно Александру Соломоновичу, он прочел статью брата и, весьма довольный начинанием молодого студента, переправил ее со своим сопроводительным письмом в Тбилиси в редакцию газеты «Закавказье». Какова была наша радость (и радость всех наших коллег), когда спустя некоторое время Александр Соломонович на лекции в университете передал нам газету «Закавказье» с напечатанной в ней стать-

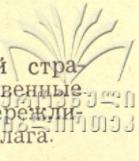
ей брата. Эту юношескую радость не забыть никогда! Поощренный таким приятным сюрпризом, мой брат ~~не~~ ^и занялся показать профессору свою работу, также прочтенную им в студенческом кружке, — «Давид Гурамишвили и поселение грузин в Малороссии», которая также была напечатана в газете «Закавказье» подвалом на две страницы.

В 1912 году закончили мы с братом Григорием наши розыски портрета Шота Руставели, которого дали без традиционной бородки. Не зная, насколько наша интерпретация может удовлетворить широкие круги почитателей гениального поэта, мы долго воздерживались от его опубликования, не решаясь сделать портрет достоянием печати, хотя многие наши друзья в Москве и даже известный в то время художник Г. Б. Якулов и расхвалили его.

Александр Соломонович, которому мы показали свою работу и от которого ожидали авторитетного ответа как от историка, также остался доволен портретом и между прочим отметил, что традиционная бородка снята вполне резонно, так как обычай носить бороду в Грузии установился только впоследствии, в пору декаданса, под влиянием Персии; а посему Руставели также не мог носить бороды. Первоначальный же портрет поэта, который лег в основу дальнейших традиционных его портретов с бородой, был сделан неизвестным автором (по всей вероятности монахом) именно в эпоху декаданса, когда борода считалась уже неотъемлемым атрибутом мужского лица.

Как известно, А. С. Хаханашвили отличался слабым здоровьем еще с детских лет. В последние годы, особенно с 1908 года, он чувствовал себя уже совсем плохо. Поэтому мы с братом часто напоминали ему о целительных свойствах климата нашего родного края, просили приехать к нам на лето в Рачу (хотя тогда Шови еще не было и в помине, но была Уцера и другие не менее полезные в смысле отдыха места). Александр Соломонович собрался было приехать к нам летом 1911 года и даже написал о скором приезде, но выполнить свое обещание не сумел. Письмо нашего учителя и друга, написанное знакомым аккуратным почерком, я и теперь храню как дорогую реликвию.

Весной 1912 года перед выездом из Москвы на летние каникулы я с братом и несколькими студентами из слушателей Александра Соломоновича снялись вместе с дорогим профессором. А летом того же года его уже не стало.



В годовщину кончины А. С. Хаханашвили в Москве в большом зале Синодального училища на Б. Никитской (ныне Герцена) улице при большом стечении бывших слушателей и почитателей профессора состоялось посвященное памяти покойного открытое заседание «Грузинского общества науки, литературы и искусства», руководимое композитором Д. И. Аракишвили. Доклады читали проф. Янчук, Крымов, Дурново, Д. И. Аракишвили, мой брат Григорий («А. С. Хаханов как историк грузинской литературы») и я («К характеристике личности А. С. Хаханова»).

Смерть популярного ученого, любимого общественного деятеля, историка, филолога, этнографа, археолога и вообще человека прямо-таки энциклопедических знаний, а также лучшего знакомка Кавказа болью отозвалась во всех уголках Грузии. Газеты и журналы единодушно отмечали большую, не восполнимую утрату.

«Александр Хаханашвили не только не зарыл в землю тот талант и ту способность, которые получил от природы, — писала газета «Теми», — но всячески постарался развить их и преуспеть, дабы с благоговением положить его на священный жертвенник благополучия своей родины и всего человечества.

Он беззаветно служил делу культурного возрождения своей страны и посвятил ему все свои молодые силы и энергию, павши славно под бременем непосильного труда.

Покойный пожертвовал родной стране не только физические и умственные силы, но и все свое достояние, бережливо накопленное им для общего блага.

Он дал народу все, что имел.

Имя профессора Александра Хаханашвили заслуженно займет почетное место наряду с именами тех, кто навсегда воздвиг себе нерукотворный памятник в сердце народа».

Наш славный поэт Акакий Церетели, гостивший в те дни у нас в Раче и Лечхуми, был глубоко опечален горестным известием об утрате молодого, еще не успевшего сказать своего последнего слова ученого; он с болью в сердце обратился к чествовавшему его народу с прочувствованным словом о нем и подчеркнул, что хотя обстоятельства и определили покойному профессору жить вдали от родины, но он и оттуда умел служить ей достойно и с полной отдачей всех своих сил и возможностей, он горел, как свеча, светя родной стране светом науки из дальнего Севера. «Такой человек не может умереть,— закончил свое слово поэт, — и будет жить вечно вместе с народом, взрастившим его».

И действительно, память о профессоре Александре Соломоновиче Хаханашвили — беззаветном труженике и ученом, пламенном патриоте Грузии и столь же пламенном ревнителе объединения прогрессивных сил всех национальностей Кавказа, внесшем крупный вклад в дело развития научной мысли в нашей стране, — жива и поныне.



В РУСЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ИСКАНИЙ

К 70-ЛЕТИЮ М. А. ШОЛОХОВА в нашей республике вышло несколько трудов грузинских ученых, по своему замыслу, уровню и размаху наглядно отражающих современное состояние шолоховедения. Это изданные на грузинском языке монография Т. Буачидзе «Михаил Шолохов», брошюра Г. Талиашвили того же названия и несколько глав из монографии Г. Джигладзе «Эпос Шолохова».

В книге Т. Буачидзе (изд. «Мерани») рассматривается все творчество М. Шолохова, от первых произведений до опубликованных глав романа «Они сражались за Родину». Анализу произведений предшествует краткий биографический очерк, в котором жизненный путь писателя характеризуется в связи со средой, в которой он вырос. Автор стремится показать М. Шолохова — политработника, организатора колхозов и, наконец, как эти факты его жизни оказались на формировании личности художника, создавшего всемирно известные произведения.

Первые произведения М. Шолохова анализируются в специфическом аспекте — автор стремится выявить в них почерк будущего великого писателя — создателя «Тихого Дона» и «Поднятой целины». Этот этап, при всей самостоятельной значимости, справедливо рассматривается как подготовительный период.

Центральное место в книге (главы с 3-й по 5-ю включительно) отведено анализу эпопеи «Тихий Дон», а вся 6-я глава — двум книгам «Поднятой целины». Далее говорится о творчестве писателя военных лет — его публицистике, отрывках из романа «Они сражались за Родину» и, наконец, о рассказе «Судьба человека». В последней главе кратко сказано о мировом значении творчества писателя, о его приездах в Грузию, приводится описание станицы Бешенской, дома Шолохова.

Книгу Т. Буачидзе отличают глубокое знание творчества писателя и литературы о нем, стремление дать точ-

НОВЫЕ ТРУДЫ
ГРУЗИНСКИХ УЧЕНЫХ О
М. А. ШОЛОХОВЕ

ные и исчерпывающие характеристики. Так, рассказ «Судьба человека», по мнению автора, воспринимается не как картина одной человеческой жизни, а как судьба всего народа, сконцентрированная в образе Андрея Соколова, не теряющего чувства достоинства в самых трагических обстоятельствах, преодолевающего физические и духовные тяготы. После гибели семьи он находит счастье в усыновленном ребенке. Таков этот русский солдат. Поэтому «Судьбу человека» справедливо называют «рассказом-эпопеей» (с. 94).

Другую особенность творчества М. Шолохова автор видит в том, что в нем воплотились три главные эпохи нашего времени, определившие жизнь народа. Период революции и гражданской войны отражен в «Тихом Доне», процесс коллективизации — второй по значимости революционный переворот в стране — в «Поднятой целине», Великая Отечественная война — в неоконченном романе «Они сражались за Родину» и рассказе «Судьба человека». Решающим моментам исторической жизни советского народа произведениями М. Шолохова создан бессмертный памятник.

И наконец, его творчество, как считает Т. Буачидзе, отличает правдивость и бескомпромиссность. Характерен такой штрих: читатели не раз просили писателя привести Григория Мелехова к новой жизни. Но, следуя логике жизни, логике истории и характера своего героя, писатель не пошел на компромисс. Образ Григория стал напоминанием о том, как важно в переломные периоды жизни народа найти правильный путь.

Обоснованию закономерности пути Мелехова отведена вся 5-я глава, рас-

сказывающая о поворотных моментах в его судьбе. Т. Буачидзе делает вывод, что в образе Григория обобщена жизнь человека, вышедшего из народа, из слоев, которые в силу социальной природы больше всего колебались во время революции, не нашли дороги к союзу с рабочим классом, оторвавшись от народа и оказались в трагическом одиночестве. Страшный конец Мелехова является закономерным завершением жизни подобного человека. В романе трагическое, исключительное стало одним из проявлений типического (с. 65).

Судьба главного героя и конец эпохи всегда находились в центре внимания критики. Поэтому хотелось бы увидеть в работе некоторые данные о спорах вокруг этих вопросов. Кроме теории «отщепенства», не лишие было бы рассказать и о сторонниках теории «исторического заблуждения», тем более что уже делается попытка преодолеть «разорванность» этих концепций.

Список литературы, приложенный к труду, содержит известные работы, получившие хорошую оценку в прессе. Но, поскольку этот список должен стать библиографией, к которой будут обращаться и грузинские читатели, желающие обогатить свои знания о М. Шолохове, может быть, следовало бы дополнить его рядом работ последнего времени, хотя в них и содержатся порою дискуссионные моменты (труды Л. Киселевой, А. Хватова, А. Бритикова и других).

Касается Т. Буачидзе и языковой специфики произведений М. Шолохова, его стилистических особенностей. Возможно, эту часть полезно было бы обогатить сведениями о наличии «хора», стилистических центрах глав и т. д.

Автор сообщает также о разных интересных фактах; пожалуй, было бы лучше, если бы книгу венчали или выводы, или сведения по теме «М. Шолохов и Грузия».

Издание в Грузии трудов о М. Шолохове — явление не частое, поэтому каждую новую работу о нем хотелось бы видеть предельно насыщенной, не только дающей представление о состоянии современной Шолоховианы, но и о полемике вокруг произведений писателя.

К сожалению, книга издана небольшим тиражом (3.000 экз.) и уже давно распродана, что свидетельствует об успехах грузинского литературопроведения, о большом уважении, которое питает к большому писателю грузинская общественность.

У брошюры Г. Талиашвили «Михаил Шолохов» иное назначение. Ориентация на широкого читателя (54.000 экз.) и приуроченность к юби-

лею обусловили особенности работы. Прежде всего — краткость. На 40 страницах изложены самые значительные факты жизненной и творческой биографии писателя. Главный же методике изложения является соединение творческих и биографических моментов. Последние приводятся весьма экономно, в меру необходимости.

Брошюра состоит из нескольких частей: краткого вступления, начальных биографических данных, которые сменяются творческо-биографическими фактами (о жизни в Москве, первых произведениях, возвращении на Дон и т. д.). Центральное место занимает анализ романа-эпопеи «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Затем говорится о некоторых идеально-художественных особенностях творчества Михаила Шолохова, а в последующих частях — о деятельности писателя в период войны, о его многогранных связях с Грузией. Основной упор делается на сообщении данных о главных произведениях, хотя дается представление и о первых произведениях, опубликованных прессой, и об отдельных главах романа «Они сражались за Родину».

Анализ главных произведений (последовательное рассмотрение частей, специфика образа Григория Мелехова, сведения о донском казачестве, образы коммунистов, женщин; своеобразие изображения процесса коллективизации, образы деревенских коммунистов и т. д.) дан в русле тех принципов, которых придерживается советское литературоведение; приводятся те данные, которые устоялись и споров не вызывают. Читатель получает доброкачественный материал, узнает самое основное о Шолохове.

Работа содержит также материалы, характеризующие связи М. Шолохова с Грузией. Кратко говорится в ней о переводах произведений писателя на грузинский язык, о приездах его в республику, посещениях нашими деятелями Бешенской и т. д. Ценность этих сведений в том, что они позволяют судить и о художественном мире Михаила Шолохова.

Глава об идеально-художественных особенностях шолоховского творчества предшествует главе о деятельности писателя в период войны. Между тем данные о художественных особенностях творчества, думается, лучше было бы рассредоточить повсеместно или поместить перед «грузинскими» материалами.

Специфика работы обусловила концентрацию устоявшихся положений о творчестве писателя. Одновременно хотелось бы видеть новые и новейшие данные (хотя бы в информационном плане), которые дали бы грузинскому читателю представление о новых аспектах

литературоведческой науки, о направлении поиска в современной Шолоховиане.

Г. Джиладзе закончил монографию «Эпос Шолохова», несколько глав из которой уже представлены на суд читателя. Писалась книга много лет подаренным М. Шолоховым «паркером». В статье «Дни рядом с Михаилом Шолоховым» («Литература Сакартвелло», 1975, 23/V, № 21), являющейся, видимо, вступительной, Г. Джиладзе говорит о приездах писателя в Грузию, о его взаимоотношениях с представителями грузинской общественности, о поездке в гости к М. Шолохову грузинской делегации и т. д. Затем М. Шолохов характеризуется как человек и художник. Как человек — это гостеприимный, внимательный и задушевный хозяин. Так, узнав, что Г. Джиладзе надо готовиться к докладу о творчестве Важа Пшавела, он уступил гостю свой кабинет, чтоб никто не мешал ему работать над ним. Как художник — это величайший писатель современности, самый большой действующий писатель на сегодняшний день. Именно Г. Джиладзе принадлежит афоризм: «Михаил Шолохов — Гомер XX века».

В другой главе «Сила публицистического слова» («Коммунист», 1975, 24/V, № 121) подробно анализируются публицистические произведения писателя — «Наука ненависти», эссе о Ганди и другие. Г. Джиладзе считает М. Шолохова публицистом нового типа; переломные моменты нашего века в литературном, идеологическом, международном и повседневном преломлении нашли в нем своего летописца. Поэтому его публицистика требует специального изучения. Ни одно произведение не писалось им в кабинете. Писатель всегда находился на линии огня. Он участвовал в упрочении Советской власти на Дону, в коллективизации, в Великой Отечественной войне. На глазах у М. А. Шолохова фашистской бомбой убило его мать, разрушило дом, сгорела его библиотека. Он был надолго оторван от семьи. Речь идет о тех же страданиях, которые испытали А. Соколов и другие его герои; поэтому произведения М. Шолохова так действенны.

М. Шолохов говорит о трудных и трагических явлениях. Но страдания, смерть, слезы у него всегда сопровождаются радостью, победой жизни. Рождение нового мира — явление яркое и трудное. Поэтому М. Шолохов говорит как о трудностях, так и о большой радости. Это положение воплощено на высоком художественном уровне. Здесь, видимо, философский ключ ко всему творчеству писателя.

В статьях «Подвиг народа сквозь призму одной судьбы» («Литературная Грузия», 1975, № 5) и «Судьба человека» («Критика», 1975, № 2) Г. Джиладзе подробно анализирует рассказ «Судьба человека», рассказывает об истории простого советского человека, в которой воплощено многое из того, что пережили люди в годы второй мировой войны. В лице А. Соколова показан человек несгибаемой воли; именно такие люди выстояли в схватке с фашизмом; а те, что погибли, стали примером стойкости, патриотизма.

Причины резонанса шолоховского произведения Г. Джиладзе видит в том, что в судьбе своего героя он сумел дать представление о судьбе народа. Далее говорится об одном из тех, чья судьба схожа с биографией Соколова. Генерал Г. Дольников в личной беседе с Г. Джиладзе сообщил о ряде совпадений его жизненных этапов с соколовскими. Это сходство еще раз подтверждает связь творчества М. Шолохова с действительностью.

К сожалению, монография Г. Джиладзе полностью еще не опубликована, но и по имеющимся главам можно получить представление о том, что в этом исследовании будут показаны эпические начала творчества М. Шолохова, поставлены многие теоретические проблемы (об образах-характерах и личностях, о жизненных явлениях и закономерностях, которые претворяются в образах, о прототипах и т. д.).

Все рассмотренные нами работы написаны со знанием предмета, на хорошем научном уровне. Они являются вкладом в дело изучения и пропаганды творчества большого писателя.

Зоя ТУХАРЕЛИ.

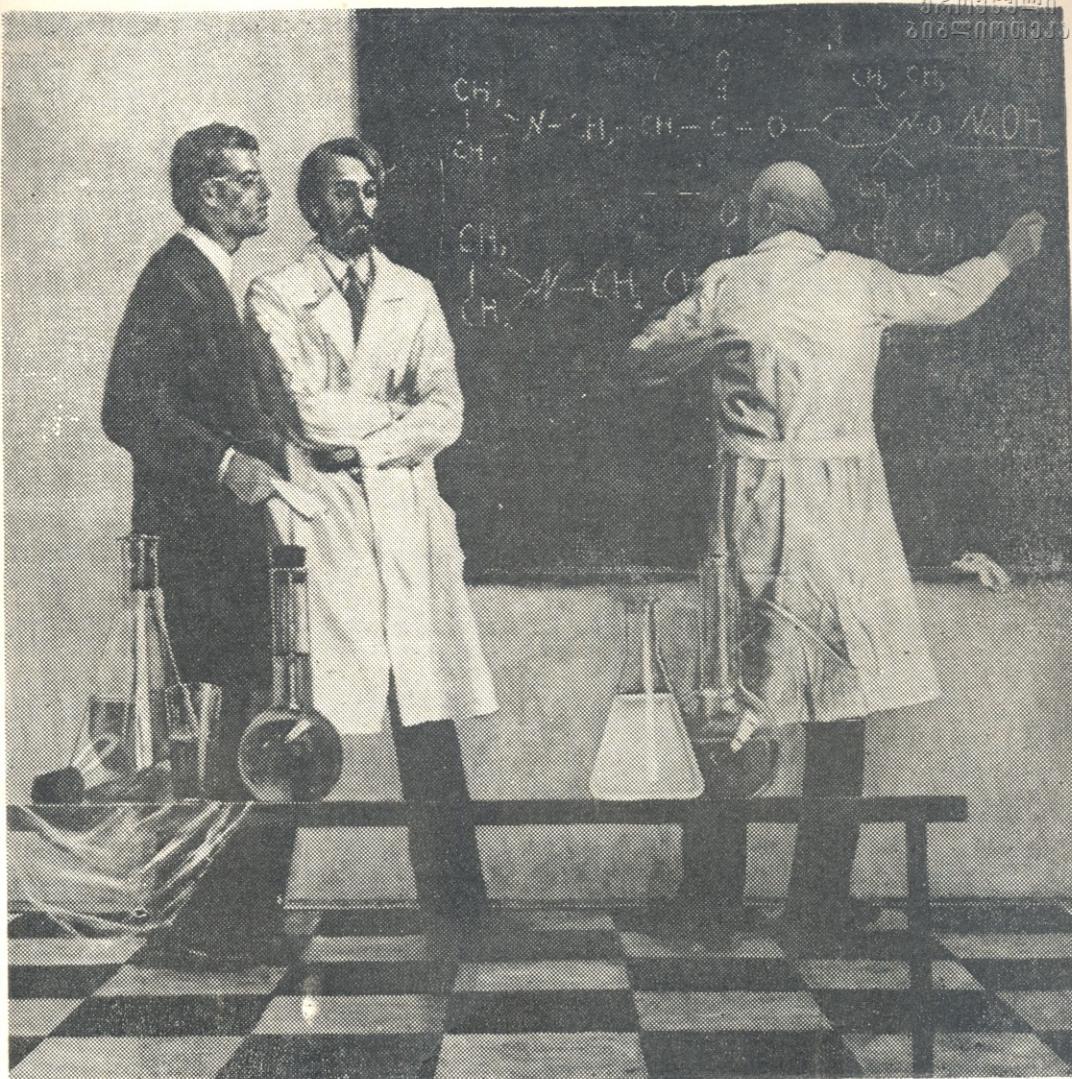
Сдано в набор 23 февраля 1976 года. Подписано к печати 9 апреля 1976 года.
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 80×108^{1/16}.

Зак. № 749

Тираж 5 200

УЭ 05690





«ФОРМУЛА ЖИЗНИ».

Картина худ. И. ВЕПХВАДЗЕ
(Всесоюзная молодежная выставка советских художников
1976 года, посвященная XXV съезду КПСС, гор. Москва).

26-1976.

76-282



Цена 40 коп.

ИНДЕКС
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა.

